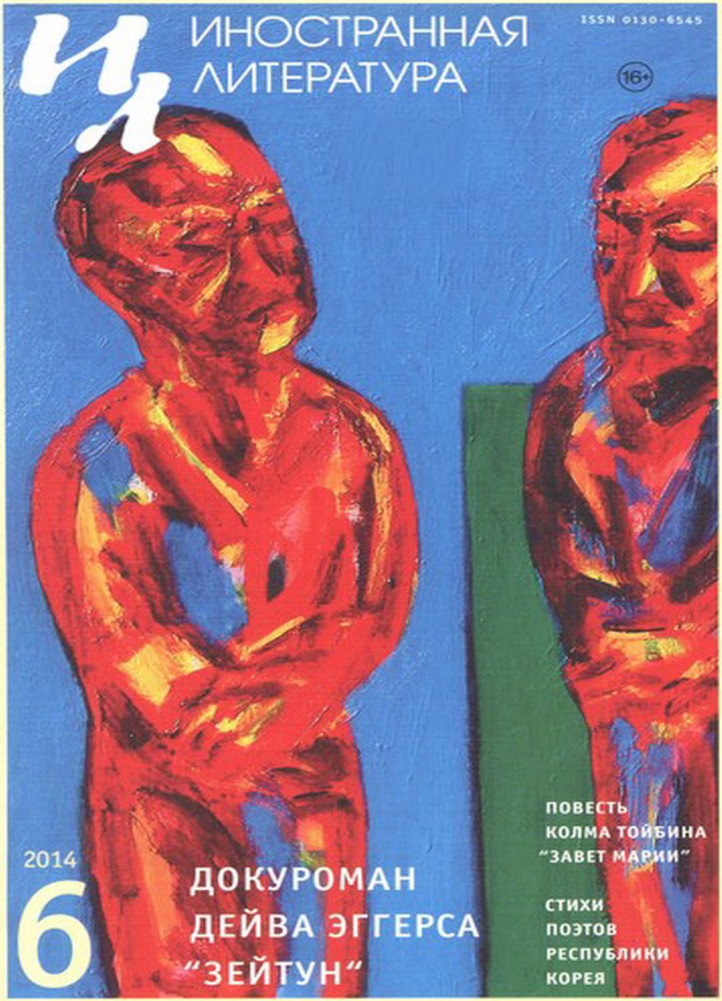
ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



2014

6

ДОКУРОМАН ДЕЙВА ЭГГЕРСА "ЗЕЙТУН"

ПОВЕСТЬ КОЛМА ТОЙБИНА "ЗАВЕТ МАРИИ"

СТИХИ ПОЭТОВ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Основан в 1955 году

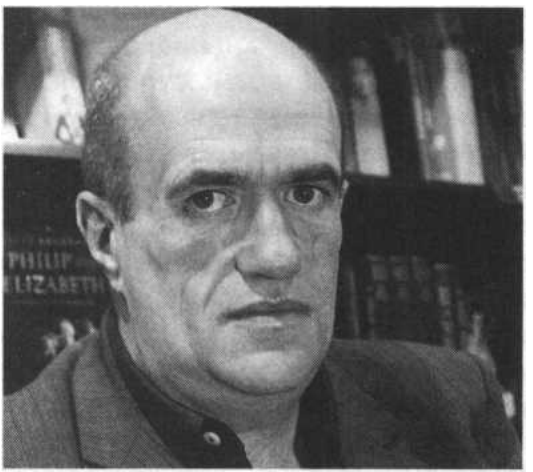
# Завет Марии
# Колм Тойбин

Аннотация
Колм Тойбин. Завет Марии. Повесть

## Аннотация

Повесть Колма Тойбина «Завет Марии» показывает нам жизнь и деяния Иисуса Христа в ином свете, а истина, отраженная и преображенная в восприятии его материи Марии, перестает быть абсолютной и наполняет душу читателя сомнением.

# Колм Тойбин
# Завет Марии
# Повесть



Теперь эти двое приходят чаще, и раз от раза их нетерпение растет, они хотят от меня все большего. Их кровь кипит, ради своей цели они ни перед чем не остановятся, и я, после всего пережитого, сразу такое чувствую, как чувствует преследуемое животное. Но сейчас меня никто

не преследует. Уже нет. Сейчас обо мне заботятся, меня тихо расспрашивают, меня охраняют. Они думают, что я не догадываюсь, как необъятно задуманное ими. Но теперь от меня ничто не ускользает, разве что сон. Сон бежит от меня. Может, я слишком стара, чтобы спать. Или сон больше не принесет мне пользы. Может, мне больше не нужно видеть сны, не нужно отдыхать. Может, мои глаза знают, что скоро закроются навсегда. Если нужно, я не буду спать. Я спущусь к ним, как только рассветет, как только лучи солнца проникнут в комнату. У меня есть причина наблюдать и ждать. Прежде чем наступит вечный покой, нужно долго бодрствовать. И мне довольно знать, что конец когда-нибудь настанет.

Они думают, я не вижу, как в мире что-то постепенно разрастается, думают, я не знаю, зачем мне задают вопросы, и не замечаю, как мучительное раздражение тенью пробегает по их лицам и прорывается в голосах, когда я говорю что-то непонятное или бессмысленное, что-то ненужное им, или когда им кажется, что я не помню того, что, по их мнению, должна помнить. Ослепленные своим фанатичным стремлением и одурманенные остатками ужаса, пережитого

всеми нами тогда, они не замечают, что я помню все. Что память наполняет мое тело, как кровь и кости.

Я благодарна за то, что они меня кормят, покупают мне одежду и защищают. За это я сделаю для них, что смогу, но не больше. Так же как я не могу наполнить легкие других воздухом, заставить сердца других биться, кости — не ломаться, а плоть — не увядать, я не могу и сказать больше того, что в моих силах. Я знаю, как им это мешает, и их горячее желание услышать новые нелепые истории или простой, ясный рассказ о том, что нам всем пришлось пережить, могло бы вызвать у меня улыбку, если бы я не забыла, как улыбаются. Мне больше не нужно улыбаться. И слезы мне больше не нужны. Когда-то я думала, что у меня совсем не осталось слез, что я их все выплакала, но, к счастью, такие глупые мысли не задерживаются в моей голове, их место быстро занимает правда. Если тебе действительно нужны слезы, они найдутся, ведь они возникают в теле. Мне слезы больше не нужны, и от этого должно стать легче, но я не хочу, чтобы мне стало легче, я просто хочу остаться одна и искупить свой грех, никогда больше не сказав ни слова неправды.

Один из тех, кто приходит, оставался с нами до

самого конца. Тогда он был мягок, готов обнять и утешить меня — так же как теперь готов смотреть нетерпеливо и мрачно, если слышит не то, что хотел бы. Но я до сих пор вижу отблеск той мягкости: иногда его глаза начинают сиять, а потом он вздыхает и возвращается к своей работе, выводит одну за другой буквы, они складываются в слова, прочесть которые — он знает — я не могу. Слова о том, что произошло на том холме, и о том, что случилось раньше и после. Я прошу прочесть мне эти слова, но он не станет этого делать. Я знаю, он пишет о вещах, которых ни он, ни я не видели. Я знаю, он выражает словами пережитое мной и виденное им, и старается сделать так, чтобы эти слова имели значение, чтобы к ним прислушивались.

Я помню слишком многое, я — будто воздух в безветренный день: неподвижный, все обволакивающий. Как мир, бывает, затаит дыхание, так и я затаила свои воспоминания.

И когда я рассказываю ему о кроликах, я не говорю о чем-то, о чем забыла и вспомнила только потому, что он постоянно меня спрашивает. Я, хотя и прошло много лет, вижу все случившееся так же ясно, как свои руки и ноги. В тот день, о котором он расспрашивает, в день, о котором

он хочет слышать снова и снова, в день, когда все смешалось, ко мне, среди ужаса, воплей и плача, подошел человек с клеткой. В ней сидела огромная злая птица, сплошной острый клюв и горящие глаза, птица, которая не могла полностью расправить крылья в тесной клетке и от этого злилась. Ей бы летать, выслеживать добычу, камнем падать на нее.

Еще у человека был мешок, где, я позже поняла, сидели кролики — маленькие комочки безумного страха. И пока тянулись эти часы на холме, часы, гораздо более длинные, чем любые другие, он вытаскивал кроликов по одному и засовывал в клетку. Сначала птица раздирала зверькам живот, и их внутренности вываливались наружу, а потом выклевывала глаза. Сейчас об этом легко рассказывать, ведь это немного отвлекало от того, что происходило, и еще об этом легко рассказывать, потому что это было совершенно бессмысленно. Птица не казалась голодной, хотя, может быть, она чувствовала такой неутолимый голод, что даже живая плоть не могла ее насытить. Клетка постепенно наполнялась визжащими полумертвыми кроликами. Человек смотрел то на клетку, то на происходящее вокруг, и его лицо пылало, он почти улыбался от мрач-

ного наслаждения, сидя возле своего мешка, в котором еще было чем поживиться.

* * *

До этого мы говорили о другом, например, о мужчинах, игравших в кости рядом с крестами. Они играли на его одежду и другие вещи, а может, и просто так. Одного я очень боялась — как и душителя, появившегося позже. Этот первый был из тех опасных людей, которые весь день ходили туда-сюда, следили за мной. Казалось, он очень хочет знать, куда я пойду потом, когда все закончится, и что это его пошлют, чтобы притащить меня обратно. Этого человека, следившего за мной, вероятно, наняли верховые, наблюдавшие издалека. Если кто-то и знает, что и почему случилось в тот день, то это — он, человек, игравший в кости. Очень просто было бы сказать, что я вижу его во сне, но это не так, он не преследует меня, как преследует другое, другие лица. Он был там, и это все, что я могу о нем сказать. Он наблюдал за мной, знал, кто я, и, если бы теперь, через столько лет, он показался бы в дверях — глаза прищурены от солнца, рыжеватые волосы поседели, кисти рук все так же не по росту велики, такой же всезнающий, хладнокровный и жестокий,

за спиной злобно ухмыляется душитель, — я бы не удивилась. Но с ними я бы долго не прожила. Как два друга, приходящих ко мне, хотят, чтобы я говорила, рассказывала о том, что видела, так этот человек, игравший в кости, и душитель, и другие такие же хотели бы, чтоб я умолкла. Я сразу узнаю их, если они придут, хотя теперь это вряд ли имеет значение — ведь дни мои сочтены. Но когда я не сплю, я все еще безумно боюсь их.

По сравнению с ними человек с кроликами и ястребом был странно безобиден; он был жесток, но жесток как-то глупо. Ему ничего особенного не требовалось. На него никто не обращал внимания, а я заметила его, потому что, может быть единственная из всех людей на холме, замечала любое движение, надеясь, что смогу найти кого-то и молить о защите. А еще потому, что надеялась понять, чего им нужно будет от нас, когда все закончится, а больше всего — потому, что так я могла отвлечься, хотя бы на секунду, от ужаса, творившегося у меня на глазах.

Мой страх был им безразличен, как и страх тех, кто был вокруг, я думала, что этим людям приказано окружить нас, если мы попытаемся двинуться с места, и что нас обязательно схватят.

Второй из тех, кто приходит ко мне, ведет себя иначе. В нем нет мягкости. Он нетерпелив, ему не интересно, что я скажу, он и сам все знает. Он тоже пишет, но гораздо быстрее первого, одобрительно кивая своим словам. Очень легко раздражается. Когда я просто прохожу через комнату, чтобы взять тарелку, это его злит. Иногда мне трудно сдержаться и не заговорить с ним, но я знаю, что сам звук моего голоса вызывает у него подозрение, почти отвращение. Но он, как и первый, вынужден меня слушать, для этого он здесь. У него нет выбора.

Прежде чем он ушел, я сказала ему, что всегда, когда видела, что несколько мужчин собирались вместе, из этого не выходило ничего хорошего — только глупость и жестокость, причем первой в глаза бросалась глупость. Он сидел напротив меня и ждал, что я еще что-нибудь скажу, и мало-помалу терял терпение, потому что я отказывалась говорить о том, о чем хотел он: о дне, когда мы потеряли нашего сына, о том, как мы нашли его и что говорили. Я не могу назвать его имя, не могу его выговорить, во мне что-то сломается, если я его произнесу. Поэтому мы называем его «он», «мой сын», «наш сын», «тот, кто был здесь», «твой друг», «тот, о ком ты хочешь услышать».

Может быть, я смогу вымолвить это имя прежде, чем умру, или хотя бы неслышно прошептать его ночью, но, мне кажется, я не смогу.

Я сказала, что он собирал вокруг себя неудачников: просто мальчишек, как и он сам, или сирот, или мужчин, не способных взглянуть в глаза женщине, или людей, непонятно чему улыбающихся или до срока постаревших. Среди вас не было нормальных, сказала я, и увидела, что он оттолкнул тарелку с остатками еды, будто истеричный ребенок. Да, я так и сказала: «неудачников». Мой сын притягивал неудачников, хотя сам, несмотря ни на что, неудачником не был. В нем было все, даже кротость, это очень редкое качество, он мог спокойно переносить одиночество, мог смотреть на женщину как на равную. Он был благодарным, вежливым, умным. И поэтому мог вести доверявших ему людей куда угодно. «У меня нет времени на неудачников, — сказала я, — ведь когда вы двое соберетесь вместе, то получится не только глупость и обычная жестокость — вам обязательно захочется большего. Стоит неудачникам собраться вместе, — сказала я, пододвигая тарелку обратно, — и они способны на все: они могут быть бесстрашными, целеустремленными, какими угодного, прежде чем они успокоятся или

добьются своего, случится то, что случилось, и с чем мне приходится жить».

* * *

Моя соседка Фарина оставляет мне еду. Иногда я плачу ей. Сначала я не открывала, когда она стучала мне в дверь, и даже если и забирала то, что она оставляла — фрукты, или хлеб, или яйца, или воду, — то не считала нужным с ней заговаривать, проходя мимо ее дома, или делать вид, что знаю, кто она такая. Я никогда не прикасалась к оставленной ею воде и ходила к колодцу сама, даже если после этого очень болели руки.

Когда ко мне пришли и спросили, кто она, я была рада ответить, что не знаю, что мне все равно и что не знаю, почему она оставляет мне еду: может быть, чтобы иметь повод болтаться возле дома, где ее не хотят видеть? Они предупредили, что я должна быть осторожна, и на это легко было ответить: сказать, что мне это известно лучше, чем им, и что если они пришли давать ненужные советы, то, наверное, пришли зря.

Но со временем, проходя мимо ее дома и замечая ее в дверях, я начала на нее поглядывать, и она мне понравилась. Хорошо, что она была небольшого роста, меньше меня, и выгляде-

ла более слабой, хотя и была моложе. Сначала я думала, что она живет одна, и решила, что справлюсь с ней, если она станет слишком требовательной или настойчивой. Но, как я потом узнала, она была не одна. Ее муж лежал в комнате с закрытыми окнами и не мог подняться, не мог двигаться, и ей целыми днями приходилось за ним ухаживать. А сыновья ее, как и все сыновья, ушли в город в поисках работы, развлечений и приключений, оставив Фарину ухаживать за козами и оливковыми деревьями и каждый день ходить за водой. Я дала ей понять, что если когда-нибудь ее сыновья вернутся домой, то пусть не переступают моего порога. Я дала ей понять, что никакой помощи мне не нужно. Я не хочу, чтобы они входили в мой дом. Я неделями выветриваю мужской запах из комнат, чтобы дышать воздухом, не пропахшим мужчинами.

Я начала кивать ей при встрече. И все же я не смотрела на нее, хотя и знала, что она заметила перемену. И другие перемены не заставили себя ждать. Вначале было трудно разговаривать, потому что мне тяжело было ее понять, и это ей казалось странным, но замолчать она уже не могла. Вскоре я стала понимать большую часть того, что она говорила, — достаточно, чтобы узнать,

куда она ходит каждый день и почему. Я пошла с ней — не потому, что мне этого хотелось. Я пошла из-за моих гостей — тех, что заботятся обо мне в последние годы. Они засиживались намного дольше, чем мне нравилось, и задавали слишком много вопросов, поэтому я подумала, что если исчезну из дома хотя бы на час или два, то они станут повежливей, а может, даже уйдут.

Я не надеялась, что ужасный мрак случившегося когда-нибудь рассеется. Этот мрак — часть меня, он заполняет тело тьмой, как сердце заполняет его кровью. Он — мой спутник, странный товарищ, не дающий мне спать ни ночью, ни утром и не отходящий ни на шаг днем. Он — тяжесть внутри меня, которую временами невозможно вынести. Иногда он немного светлеет, но никогда не исчезает совсем.

Я пошла в храм с Фариной просто так. Не успели мы отправиться в путь, как я стала с удовольствием думать, что они скажут, когда я вернусь, как спросят, где я была, и начала готовить ответ. По дороге мы не разговаривали, и, только когда были почти у цели, Фарина сказала, что каждый раз просит лишь о трех вещах: чтобы боги забрали ее мужа и избавили его от страданий, чтобы ее сыновья были здоровы и чтобы они хорошо

к ней относились. «А ты правда хочешь, чтобы твое первое желание исполнилось? — спросила я. — Чтобы муж умер?» — «Нет, — сказала она, — не хочу, но так будет лучше». Мне запомнились ее лицо, выражение, лучистый взгляд, доброта, исходившая от нее, когда мы входили в храм.

А потом я помню, как обернулась и впервые увидела статую Артемиды. Я смотрела на нее во все глаза, от статуи исходила милость и щедрость, изобилие и благодать и, пожалуй, красота. На минуту я почувствовала себя лучше, мои тени разлетелись и смешались с тенями храма. На несколько минут я вся как бы пропиталась светом. Из сердца исчез яд. Я смотрела на статую древней богини, больше меня видевшей и больше страдавшей: ведь она жила дольше. Я глубоко вздохнула, чтобы показать, что принимаю тени, тяжесть, то зловещее, что настигло меня в тот день, когда я увидела своего сына связанным, залитым кровью, когда я услышала его стоны и подумала, что ничего хуже уже быть не может. Но прошло еще несколько часов, и я поняла, что ошибалась, и ничего, что я делала, чтобы остановить этот кошмар, не помогало, и ничего, что я делала, чтобы не думать об этом, не помогало тоже. И ужас этих часов полностью пропитал мое

тело, и я вышла из храма, а ужас так и остался в моем сердце.

Я скопила немного денег и купила у ювелира маленькую серебряную статуэтку богини, приободрившей меня. Я спрятала ее, но мне было важно знать, что она — тут, рядом со мной, и если я захочу, то ночью смогу тихонько с ней поговорить. Я смогу рассказать ей о том, что случилось, и как я здесь оказалась. Я смогу рассказать, как все заволновались, когда начали появляться новые деньги, новые законы и новые слова. Бедняки — и мужчины, и женщины — начали говорить об Иерусалиме, словно он был совсем рядом, а не в двух-трех днях пути. И тогда стало ясно, что молодые могут туда отправиться. Туда мог пойти любой, кто знал грамоту, или плотник, или тот, кто умел мастерить колеса или работать с металлом, вообще любой, кто мог красиво говорить или хотел торговать тканями, или зерном, или фруктами, или маслом. Вдруг стало легко уйти — но вернуться, конечно, нелегко. Ушедшие в город присылали известия, деньги и одежду, но их самих удерживала там какая-то сила, сила денег, сила будущего. Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-то говорил о будущем, если только речь не шла о завтрашнем дне или о ежегодном

празднике. Но что наступит время, когда все изменится и жизнь станет лучше — такого не говорили. Эта мысль тогда охватила деревни, пронеслась, словно сухой горячий ветер, и унесла всех, кто был на что-то способен, унесла моего сына, и я совсем не удивилась, потому что, если бы он не ушел, это бы все в деревне заметили, и люди стали бы спрашивать, почему он не ушел. А все было просто: он не мог остаться. Я ничего у него не спрашивала, я знала, что он легко найдет работу, знала, что он будет присылать то же, что и остальные. Я собрала для него все необходимое, как собирали другие матери для своих сыновей. Это было совсем не тяжело. Это просто было концом чего-то — и, когда он уходил, собралась толпа, потому что уходили и другие. Я вернулась домой, улыбаясь своим мыслям — я думала, что мне повезло, ведь он многое умеет и обязательно найдет себе занятие в городе, и что в последние месяцы, а может, и целый год перед его уходом, мы вели себя очень осторожно: мало разговаривали, чтобы не очень привязаться друг к другу, потому что оба знали: он уйдет.

Наверное, раньше, до его ухода, я должна была быть внимательней: кто приходит в дом и что говорят за моим столом. Но когда приходи-

ли незнакомые мне люди, я сидела в кухне не потому, что была застенчива или не любила поговорить, а потому что мне было с ними скучно. Что-то в самой искренности этих юношей отталкивало меня, заставляло уходить на кухню или в сад, что-то в их нелепом стремлении к чему-то или, может, отсутствие в них чего-то важного. Я подавала им еду или воду и уходила, прежде чем до меня доносилось хоть слово из их разговоров. Поначалу они обычно молчали, взволнованные, чего-то ждущие, а потом разговор становился нестерпимо громким. Все они говорили одновременно или, что еще хуже, мой сын требовал тишины и начинал обращаться к ним, как к толпе, совершенно неестественным голосом. Я не в силах была его слушать, меня это раздражало, и я часто оказывалась с корзинкой на узких пыльных улочках, будто шла за хлебом или проведать соседей, которых не нужно было проведывать, и надеялась, что, когда вернусь, все уже уйдут или мой сын перестанет говорить. Когда они уходили, а мы оставались вдвоем, он становился гораздо мягче, проще, как сосуд, из которого вылили гнилую воду. Может, пока он говорил, он очищался от того, что его беспокоило, а ночь, одиночество, или сон, или просто молча-

ние и повседневные дела снова наполняли его чистой ключевой водой.

* * *

Я всегда очень любила шаббат. Самым лучшим было время, когда моему сыну было восемь или девять, он был уже достаточно большим и с удовольствием делал все правильно и без напоминания; достаточно большим, чтобы не шуметь в тихом доме. Я любила подготовиться к празднику заранее: за два дня до субботы начать стирать и убираться, а потом, накануне, — стряпать и приносить воду. Мне нравились спокойные утра, когда мы с мужем, негромко разговаривая, шли в комнату сына, чтобы побыть с ним, подержать его за руку и угомонить, если он забывал, что этот день — необычный, и говорил слишком громко. В те годы субботние утра в нашем доме были безмятежны, часы текли тихо и мирно, и мы обращались внутрь себя и почти забывали о суете вокруг и о повседневных заботах.

Мне нравилось смотреть, как муж и сын идут в храм, нравилось остаться дома одной и помолиться, а потом отправиться в храм, ни с кем не разговаривая, ни на кого не глядя. Мне нравилось молиться в храме, нравилось слушать, как чи-

тают Писание. Я знала его наизусть, и по дороге домой оно продолжало успокаивающе звучать во мне. В эти недолгие часы до захода солнца я испытывала странные чувства: вместе с отзвуками молитвы, умиротворенностью и тихой праздностью внутри меня жило смутное беспокойство, я чувствовала, что прошедшая неделя уже никогда не вернется и что нечто, для чего у меня нет названия, скрывается за словами Писания, сидит в засаде, как охотник, расставивший капкан, или рука, готовая взмахнуть косой во время жатвы. Мысли о том, что время уходит и что я многого не знаю о происходящем вокруг, беспокоили меня. Но я думала, что так всегда бывает, после того как ты целый день был погружен в себя. И все-таки я бывала очень рада, когда на закате тени сгущались, темнело и мы снова могли разговаривать, а я могла заняться делами на кухне и подумать о других и о мире вокруг.

* * *

Когда эти двое приходят ко мне, они передвигают вещи, словно это их дом, словно, переставив мебель, они получат власть над этой комнатой, власть, которую иначе получить невозможно. А когда я прошу их вернуть все на место, придви-

нуть к стене стол, поднять кувшины для воды обратно на полку, они переглядываются и смотрят на меня, как бы показывая, что и не подумают сделать по-моему, что будут стоять на своем, даже в мелочах, что никому не подчинятся. Я надеюсь, в моем взгляде они заметят презрение и поймут свою глупость, хотя никакого презрения во мне нет, я чуть ли не счастлива, и то, что они ведут себя, как маленькие мальчики, пытаются показать, кто больше и кто главный, только забавляет меня. Мне все равно, как стоит мебель, пусть хоть каждый день ее двигают, мне-то что, поэтому я быстро возвращаюсь к своим занятиям, будто бы покорно признав свое поражение. А потом я жду.

В комнате стоит один стул, на нем никто никогда не сидел. Может, когда-то раньше им кто-то пользовался, но в этот дом он попал, когда мне очень нужно было напоминание о годах, прожитых в любви. Сидеть на нем нельзя. Он — символ памяти, он принадлежит человеку, который уже не вернется, чье тело стало пылью, но который когда-то был для меня всем миром. Он не придет. Стул стоит в комнате, потому что он не придет. Ему не нужно, чтобы я берегла для него еду, воду или место в своей постели, не нужно, чтобы я рассказывала ему новости. Я берегу этот пустой

стул. Это не трудно, иногда я просто смотрю на него, проходя мимо, — это все, что я могу сделать. Может, этого достаточно, а может, когда-нибудь придет время и такое постоянное напоминание о нем станет мне не нужно. Может, память о нем так глубоко проникнет в мою душу, что, когда придет пора умереть, никакие предметы уже не понадобятся. Я знаю, что кто-нибудь из этих грубых людей, ведущих себя, как захватчики, обязательно возьмет этот стул, будто бы невзначай, чтобы труднее было отказать. Но я к этому готова.

— Не садись на этот стул, — сказала я, когда один из них отодвинул стол и вытащил стул, который я задвинула к стене, чтобы они его не осквернили. — Можешь взять вот тот, рядом, а этот не трогай.

— Не трогать стул? — переспросил он, как слабоумный. — А для чего тогда стулья? Мне нельзя сесть на стул? — спросил он больше с обидой, чем с угрозой, хотя и угроза чувствовалась.

— На этом стуле сидеть нельзя. Никому, — тихо сказала я.

— Никому? — спросил он.

— Никому, — еще тише ответила я.

Они переглянулись. Я ждала. Я не отвернулась

и старалась казаться кроткой женщиной, которой не стоит противоречить, тем более в такой мелочи, в обыкновенной женской причуде.

— Но почему? — спросил он с ухмылкой.

— Но почему? — спросил он снова, обращаясь ко мне, как к ребенку.

У меня вдруг перехватило дыхание, и мне пришлось опереться на спинку ближайшего стула. Мне стало не хватать воздуха, сердце пропустило несколько ударов, и я вдруг поняла, что вскоре жизнь, весь ее небольшой остаток, покинет меня, легко, как затухает пламя в тихий день, лишь подует слабый ветерок — неожиданно вспыхивает и бесследно гаснет.

— Не садись на него, — тихо проговорила я.

— А в чем дело? — сказал он.

— Этот стул, — сказала я, — для человека, который больше не вернется.

— Но он вернется, — сказал он.

— Нет, — ответила я, — не вернется.

— Твой сын вернется, — сказал он.

— Это стул для моего мужа, — ответила я, словно теперь слабоумным был он. Я была рада, что выговорила это, как будто при слове «муж» в комнату проникло что-то или тень чего-то, но мне и тени было достаточно, а им — нет. Поэтому он

потянулся к стулу, развернул его к себе и собрался взгромоздиться на него ко мне спиной.

Я ждала этого. Я схватила острый нож и потрогала его лезвие. Я не угрожала им, но мое движение было таким быстрым и неожиданным, что привлекло их внимание. Я глянула на них и перевела взгляд на лезвие.

— У меня и другие есть, — сказала я, — и если кто-то еще раз притронется к стулу, просто притронется, то я подожду, как жду сейчас, и приду ночью, тихо, как воздух, и вы даже вскрикнуть не успеете. Не сомневайтесь, именно так я и сделаю.

Я отвернулась, словно решив заняться своими делами. Вымыла несколько кувшинов, которые и так были чистыми, и попросила принести мне воды. Я знала, что сейчас им хочется остаться наедине, и, когда они ушли, приставила стул обратно к стене и задвинула столом. Я понимала, что, может быть, настало время забыть мужчину, за которого я вышла замуж, ведь скоро я вновь буду с ним. Может быть, не стоит больше цепляться за этот стул, и я так и поступлю, когда он перестанет что-то значить. Я разрушу его чары, когда сама захочу.

* * *

Теперь я живу то в этом мире, среди осязаемых и понятных вещей, то в пугающем мире воображения. Тогда, в дни шаббата, после всех молитв, после воздаяния хвалы и благодарности Господу, всегда оставалось время, чтобы подумать о вещах, сокрытых в небесах и в земных глубинах. Иногда, после долгих часов молчания, мне казалось, что из потусторонней тьмы меня зовет моя мать, зовет, как бы прося накормить и напоить ее. А когда спускались сумерки, я видела, как она исчезает в бесконечно глубокой бездне, как вокруг нее мелькают какие-то летящие тени, и слышала нарастающий подземный гул. Не знаю, почему меня посещали такие видения, гораздо легче мне было бы представить, как тело ее постепенно смешивается с теплой землей в каком-нибудь любимом ею уголке. Мне было легко вернуться от этих грез о подземном мире к обычным неотложным делам, к повседневным трудам и заботам, к людям, приходившим к моей двери в свете дня.

* * *

Мы с Марком из Каны не были в родстве, хотя

из-за того, что родились в один день и в соседних домах, он называл меня двоюродной сестрой. Мы играли и росли вместе, пока не пришло время расстаться. Когда он вдруг опять появился в нашем доме в Назарете, я была одна. Мы не виделись много лет. Я знала, что он ушел в Иерусалим, знала, что он талантливее многих других ушедших и что, как и его отец, он одновременно застенчив и невозмутим, может произвести впечатление, даже одурачить человека, если нужно, может всем поддакивать, может не иметь собственного мнения или скрытых мыслей.

Марк вошел и сел за стол. От еды он отказался, и я заметила, что он изменился. В нем появились холодность, решимость, способность многозначительно молчать, жесткие складки у глаз и рта — признак жестокосердия, который я позже видела в своих защитниках, или стражах, или кто они там. Он рассказал мне о том, что видел, и рассказал, уже тогда, что может случиться. Он сказал, что увидел все не случайно: в шаббат один знакомый позвал его с собой к купальне у Овечьих ворот в Иерусалиме, где, как было известно, собирались мой сын и его друзья. И там, как сказал Марк, они наделали шуму и собрали большую толпу, и тогда их заметили.

Марк сказал, что там, среди больных, слепых, хромых, иссохших, лежал один полоумный старик. Этот безумец, как и все остальные, верил, что в определенный час в купальню сходит ангел и возмущает воду и что тот, кто первый входит в нее, тот выздоравливает, какою бы ни был одержим болезнью. Мой сын с друзьями, молодыми парнями, приходившими к нам раньше, был там. Марк видел, что их присутствие привело толпу в неистовство, что началась всеобщая истерика. Они наверняка знали, сказал Марк, что за ними все время наблюдают. Повсюду, сказал он, были шпионы и соглядатаи, и не думавшие скрываться. Может, этим людям платили или давали награду, когда преследуемые их замечали. Марк сказал, что стоял возле самой купальни и видел, как все смотрели на этого юродивого, полусумасшедшего нищего, который не переставая жаловался на свой паралич. Марк слышал, как мой сын, подойдя к нему, громко сказал: «Хочешь ли быть здоров?» Люди в толпе хохотали и передразнивали его, кто-то подзывал других поближе к купальне, где гремел голос: «Хочешь ли быть здоров?» Но юродивый все твердил, что воду возмущает ангел и только первый сошедший в нее выздоровеет, и поэтому он обречен остаться

неподвижным до самой смерти. И голос сына снова загремел, и теперь уже никто не смеялся и не паясничал. Стояла полная тишина, и голос произнес: «Встань, возьми постель твою и ходи».

Марк не помнил, как долго продлилось молчание. Он увидел, как лежавший параличный поднялся, безмолвная толпа расступилась, и мой сын велел ему не грешить больше. И старик ушел, отбросив костыли. Он направился к Храму, все повалили за ним — мой сын с друзьями тоже. Они смущали народ в шаббат. В Храме никто не обратил внимания на этого человека и на то, что он может ходить, но все заметили, что он кричит, и показывает на моего сына, и за ним идет большая толпа и что все это происходит в субботу. Никто, сказал Марк, не сомневался, из-за кого был нарушен шаббат. Его не схватили, сказал Марк, только потому, что за ним наблюдали и хотели понять, куда и с кем он пойдет дальше. Правители, и иудейские, и римские, хотели знать, куда он всех поведет и что случится, если они, не таясь, будут повсюду посылать за ним шпионов и соглядатаев.

— Могу ли я как-нибудь остановить его? — спросила я.

— Да, можешь, — сказал Марк. — Если он вер-

нется домой, один, и не будет выходить на улицу, не будет работать и принимать гостей, а будет просто сидеть дома, исчезнет, то это может его спасти. И даже тогда за ним будут следить. Но если он сейчас не вернется, ему уже не помочь.

* * *

Тогда я решила пойти в Кану на свадьбу к дочери двоюродной сестры, хотя до этого не собиралась. Я не люблю свадьбы. Мне не нравится, что все громко смеются и кричат, что еда тратится попусту, вино течет рекой и кажется, что жениха с невестой приносят в жертву, в жертву деньгам, положению или наследству. Кажется, что праздник не имеет к ним никакого отношения, их поздравляют с чем-то, что никого не касается, их выставляют на всеобщее обозрение под пьяные крики собравшихся. Когда ты молода, тебе легче от множества улыбающихся людей, и от всей этой суматохи у тебя начинает кружиться голова, и вот ты уже готова полюбить любого недоумка, стоит тому оказаться рядом.

Я пошла в Кану не для того, чтобы побывать на шумном празднике соединения двух человек, одного из которых я едва знала, а второго — не видела никогда, но чтобы попытаться вернуть до-

мой своего сына. За несколько оставшихся дней я старалась собраться с силами, чтобы взгляд мой стал твердым, а голос — глухим и настойчивым. Я искала слова убеждения и даже угрозы на случай, если убеждений будет недостаточно. Должно быть что-то, думала я, что я могу сказать, чтобы он меня услышал. Одна фраза. Одно обещание. Одна угроза. Одно предупреждение. И я была уверена, что нашла их. Я обманывала себя, думая, что он вернется со мной, что он уже вдоволь набродился по свету, что он уже сломался или что я могу сломать его какими-нибудь словами.

Я пришла в Кану за несколько дней до свадьбы и поняла, или почти поняла, что пришла напрасно. Все говорили только о нем, и меня — его мать — сразу заметили. Многие ко мне обращались.

Рядом с домом моей двоюродной сестры Мириам стоял дом Лазаря, которого я знала еще ребенком. Среди наших детей он с самого рождения был самым прекрасным. Казалось, улыбка никогда не покидала его лица. Мы приходили к его матери, Рамире, она давала нам знак молчать и потихоньку подводила к колыбели, но, когда мы заглядывали в нее, мальчик уже встречал нас улыбкой. Временами это смущало Рамиру, потому что, когда мы приходили, всем было ясно,

что мы пришли не столько к родителям и сестрам мальчика, сколько к нему — посмотреть, как он учится ходить и говорить. Дети, едва заметив Лазаря, наперебой приглашали его играть, с его появлением всегда воцарялись мир и гармония. Я знаю, что он выделялся среди нас: в его душе не было черноты или страха, охватывавших всех по ночам или под вечер шаббата и уже не отпускавших. Я не видела его много лет, его семья переехала в Вифанию и прожила там какое-то время, прежде чем вернуться в Кану, но мы не теряли связи, и я получала вести о нем: как юноша рос — прекрасным и стройным, серьезным и добрым и как семья беспокоилась за него, ведь все знали, что не смогут удержать его среди масличных рощ и фруктовых садов, что настанет день, и великий город позовет его, что его обаянию и красоте, теперь уже мужской, будет нужен другой мир, чтобы проявить себя.

Но никому и в голову не приходило, что ему было предначертано отправиться в царство смерти, что все его изящество и красота, его ореол избранности — подарок богов его родителям и сестрам — все это было лишь зловещей шуткой, как манящий запах и изобилие еды, которую проносят мимо. Я знала, что, заболев, он несколько

дней простонал от боли, а потом ему стало лучше, но после боль снова вернулась, и вернулась уже в голову, и не отступала целыми ночами, и что он кричал, кричал, что обещает быть хорошим. Но сделать было ничего нельзя, яда в его голове становилось все больше, он начал слабеть и не выносил света, даже малейшего проблеска. Если открывалась дверь, когда кто-то входил, и луч света проникал в комнату, он кричал от боли. Не знаю, сколько это продолжалось, знаю только, что семья о нем очень заботилась, и знаю, что это было все равно как если бы редчайший урожай хлеба темной ночью смело ветром или чудесные плоды на деревьях погубил мор, и все считали плохой приметой даже упоминать его имя или справляться о нем.

Поэтому я не спрашивала о его здоровье, но часто думала о нем, особенно собираясь в Кану. Я думала, не навестить ли его или его сестер. Отправляясь в путь, я не знала, что он уже умер.

Улицы Каны были необычно пусты. Потом мне рассказали, что несколько дней назад все птицы разом исчезли, как будто ночь или предчувствие беды заставили их укрыться в гнездах. Все кругом смолкло: ветер утих, листья деревьев поникли, звери не издавали ни звука. Кошки забились по

углам, и тени — даже тени — были неподвижны.

Лазарь умер неделю назад, а через четыре дня после его похорон в Кану пришел мой сын со своими последователями, и полились высокопарные речи. И когда мой сын велел разрыть могилу и вынуть Лазаря, никто не хотел этого делать. За несколько дней до смерти Лазарь стал спокоен и прекрасен. Никто больше не хотел его трогать, нарушать его вечный покой, но пришедшая орава так заразила всех своим безумием, что сестрам пришлось подчиниться. По городу разнеслись рассказы о прозревшем слепце и о том, как множеству собравшегося народа нечего было есть, и вдруг, как по волшебству, в изобилии появилась пища. Других разговоров, кроме как о могуществе и чудесах, не было слышно. Казалось, эта толпа рыщет повсюду, как стая зверей, выискивая нуждающихся и больных.

И все же никто из них не мог и представить, что можно оживить мертвого. Такое никому не приходило в голову. Все думали, или так мне сказали, что не нужно даже пытаться — ведь это будет насмешкой над самим небесным промыслом. Они считали, как и я считала и считаю до сих пор, что никто не должен вмешиваться в таинство смерти. Смерть требует времени и тишины. Мертвым

нужен покой, чтобы насладиться своим новым даром, освобождением от страданий.

Марк рассказал мне, что Мария и Марфа — две сестры умершего — обратились к моему сыну, когда узнали об исцеленном хромом и о прозревшем слепом. Думаю, они были готовы на все в те последние дни. Они бессильно наблюдали, как брат устремился к смерти, будто река, несущая свои воды через равнину от истока к морю. Они были готовы на все, чтобы повернуть вспять этот поток, заставить его прервать свой бег и высохнуть под лучами солнца. Они готовы были на все, чтобы брат остался в живых. Они передали весточку моему сыну и попросили прийти, но он не пришел. Позже, когда я встретилась с ним, то сама увидела, что иногда, если время было неподходящим, его не тревожили такие мелочи, как человеческий голос или мольбы близких. Поэтому он не обратил внимания на просьбы Марфы и Марии. Они не могли покинуть брата, хотели быть с ним, когда он испустит последний вздох, когда полностью растворится в морских волнах, сольется с ними. А после, в те дни, когда речная вода постепенно становилась все солоней, когда они только похоронили его и засыпали землей, многие, любившие Лазаря и знавшие его сестер,

приходили к ним в дом со словами утешения. Все говорили о Лазаре и оплакивали его.

И когда сестры узнали, что он и его последователи пришли в город, а с ними — разношерстная толпа вечно недовольного сброда и полубезумных гадалок, Марфа вышла к ним, чтобы рассказать моему сыну о смерти Лазаря. Она встала перед ним, заставила всех замолчать и выкрикнула: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Она хотела высказать ему еще очень многое, но осеклась, увидев, как он огорчен, увидев, что он понимает, кажется, понимает: страдания и смерть Лазаря — это невыносимое горе, неподъемный груз.

Помолчав немного, Марфа снова заговорила посреди замолкшей толпы. Она говорила очень тихо, но ее слова слышали все. В ее голосе было столько отчаяния, что мольбы звучали как вызов.

— Я знаю, — сказала она, — что даже сейчас, когда он четыре дня во гробе, ты можешь воскресить его.

— Он воскреснет, — ответил мой сын, — как воскреснут все люди, когда придет время, когда само море станет спокойным, как зеркало.

— Нет, — сказала Марфа, — ты можешь воскре-

сить его сейчас.

И она сказала моему сыну то же, что говорили остальные: что он не простой смертный, как мы, а, она верит, что он — Сын Божий, посланный нам в человеческом облике, бессмертный и всемогущий, что он — тот, кого ждали, кто будет царем на земле и на небе, и что ей и ее сестре повезло быть среди благословенных, узнавших его. Ради своего брата она, стоя с раскинутыми руками, сказала ему просто и громко, что он — Сын Божий.

Потом Марфа отыскала Марию, которая плакала на могиле брата, и та тоже пошла к моему сыну и сказала, что он всемогущ. Увидев ее слезы, сын заплакал вместе с ней, потому что знал Лазаря с детских лет, любил его, как и все мы, и пошел с ней к свежей могиле, и за ним несся ропот, люди выкрикивали, что если он может исцелять больных, поднимать на ноги паралличных и возвращать зрение слепым, то способен и воскресить мертвого.

Он молча постоял над могилой, а потом тихим шепотом приказал ее раскопать, и Марфа закричала, испугавшись, что ее просьба будет исполнена. Она закричала, что брат достаточно страдал и что тело смердит и уже разложилось за столько дней в земле, но мой сын повторил свое

приказание, и вся собравшаяся толпа смотрела, как разрыли могилу и вынули землю, покрывавшую Лазаря. Когда показалось тело, зеваки в ужасе отпрянули, и у могилы остались только Марфа, Мария и мой сын, который сказал: «Лазарь! Иди вон». Постепенно толпа опять потянулась к могиле, и тут-то птицы перестали щебетать и исчезли. Марфе показалось, что время тогда остановилось, что в эти два часа ничто не росло, ничто не рождалось и не возникало, ничто не умирало и не исчезало. Мало-помалу тело, измазанное глиной и обвитое погребальными пеленами, начало неуверенно шевелиться в могиле. Казалось, земля толкала его, а потом отпускала, оставляя лежать в его великом забвении, и снова подталкивала. Казалось, странное новое существо дергалось и извивалось, стремясь к жизни. Он был обвит пеленами, лицо обвязано платком. Он стал ворочаться, как ворочается ребенок в чистой материнской утробе, понимая, что время его пришло и пора пробивать себе дорогу в мир. «Развяжите его, пусть идет», — сказал мой сын. И вышли двое мужчин, два соседа, и спустились в могилу, а все остальные притихли, в изумлении и страхе глядя, как они подняли Лазаря и развязали его. Он стоял, одетый только

в набедренную повязку.

Смерть не изменила его облика. Открыв глаза, он в глубоком неземном изумлении смотрел на солнце и небо. Собравшихся людей он, казалось, не замечал. Потом Лазарь начал издавать какие-то звуки, не совсем слова, а что-то вроде тихого крика или стона — и толпа расступилась, позволив ему пройти. Он вышел из толпы, ни на кого не взглянув, и сестры повели его к дому, а мир вокруг был неподвижен и тих. Мой сын тоже, как мне сказали, был неподвижен и тих, а Лазарь заплакал.

Сначала все увидели слезы, а потом услышали стон. Сестры осторожно вели Лазаря по дорожке к дому, за ними в молчании шла толпа, и его стон становился все громче и страшнее. Когда они дошли до дверей, силы уже почти оставили его. Они скрылись внутри дома и затворили ставни, чтобы в окна не проникало палящее солнце, и в тот день уже больше не выходили, хотя толпа не разошлась, даже когда стемнело. Некоторые так и провели там всю ночь, и даже следующее утро.

* * *

В Кане в эти первые дни все было не так, как всегда. Я заметила, что в лавках появилось гораз-

до больше товаров: не только еда и одежда, но и посуда, и дверные замки. Продавали и живность — обезьян и диких птиц с яркими красными, желтыми и синими перьями, невиданной прежде красоты, поглазеть на которых собиралось много народу. Все — и торговцы, и прохожие — были в приподнятом настроении, как будто сбросили тяжелый груз, отовсюду слышались разговоры, крики, люди собирались на перекрестках и громко хохотали. В Иерусалиме, где я бывала, пока не вышла замуж, даже в базарные дни все вели себя чинно, занятые своей торговлей или подготовкой к шаббату. Но в Кане было шумно и пыльно, повсюду слышался озорной смех — юноши без удержу хохотали, свистели и заигрывали с женщинами. Как только мы с Мириам вошли к ней, она рассказала мне о воскрешении Лазаря и о том, что теперь все сторонятся его дома, переходя на другую сторону улицы, и о том, что, наверное, сейчас он лежит в кровати в затемненной комнате и что, как она слышала, едва может выпить чуть-чуть воды или съесть кусочек мягкого размоченного в воде хлеба. Толпа последователей моего сына уже двинулась дальше из города, сказала она, и за ней потянулось еще больше разносчиков, торговцев, водоносов, глотателей

огня и продавцов дешевых сладостей. Власти продолжали усердно следить за ними, некоторые соглядатаи маскировались, а некоторые — открыто шли за ними поначалу, а потом впереди всех бросились в Иерусалим, чтобы первыми поведать о новых бесчинствах, новых чудесах, новых нарушениях великого порядка, поддерживаемого в угоду римлянам.

Мириам послала моему сыну весточку, что я в Кане, и получила ответ, что он придет на свадьбу и будет сидеть рядом с матерью. Я подумала, что тогда мы и сможем поговорить. Я успокоилась и задремала с дороги, и спала очень крепко. Мириам снова и снова пересказывала мне историю Лазаря. Я была готова к откровенному разговору с сыном, была готова прятать его в доме Мириам, пока все не успокоится, пока людей не займут другие события, и тогда мы сможем тихонько ускользнуть обратно в Назарет. В ночь накануне свадьбы я заметила, что обычно тихая улица вокруг дома Мириам гудит от топота и шума голосов. Всю ночь я слушала, как мужчины безбоязненно ходят, смеются, разговаривают, окликают друг друга, устраивают дружеские потасовки, бегают туда-сюда.

А еще тем вечером, прежде чем мы легли спать,

в дом набилось множество народу, и все наперебой рассказывали о невесте, о том, какие щедрые дары она получила, какой наряд наденет на свадьбу. Много было разговоров и о родственниках жениха: они, мол, все не могут договориться, как должна проходить свадьба. Я молчала, но чувствовала, что нахожусь в центре внимания, что некоторые пришли просто поглазеть на меня и побыть рядом. При первой возможности я ушла помогать на кухне. Когда я вернулась с подносом, чтобы собрать пустые кружки, то на секунду задержалась в дверях, и стояла там, в полумраке, никем не замеченная. Я услышала, как Мириам и еще одна женщина снова рассказывают остальным историю Лазаря.

И вдруг я поняла, что, судя по разговорам, никто из пришедших сам ничего не видел. Позже, когда мы с Мириам остались одни, я спросила, была ли она там, и она сказала «нет», но что ей все подробно рассказывали люди, видевшие это своими глазами. Заметив, как я изменилась в лице, она повернулась к окну, закрыла ставни и понизила голос.

— Я знаю, что Лазарь умер. Не сомневайся. И что он четыре дня пролежал в могиле. Это тоже точно. А сейчас он жив и завтра придет на сва-

дьбу. Ходят разговоры о бунте против римлян или против учителей закона. Кто-то говорит, что римляне хотят свергнуть учителей, а кто-то — что это учителя подстрекают народ. Но может никакого бунта и не будет, а может, будет бунт против всех и вся, даже против смерти.

И она повторила: «даже против смерти». От ее слов я оцепенела.

— Даже против смерти, — снова сказала она. — Может, Лазарь — это только начало. Сейчас он жив, дома с сестрами, но могу поклясться, что неделю назад он был мертв. Может быть, это то, чего мы ждали, и поэтому собирается народ и по ночам столько шума.

* * *

Следующим утром на кухне мы узнали, что Марфа, Мария и Лазарь придут к Мириам, чтобы вместе идти на праздник. Нам сказали, что Лазарь еще слаб, и сестры видят, как люди его боятся. «Он знает тайну, скрытую от нас, — сказала Мириам. — Его дух успел прижиться в ином мире, и люди боятся того, что он может рассказать, боятся того, что он знает. Сестры не хотят идти с ним на свадьбу одни».

Я оделась с особой тщательностью. День был

жаркий, поэтому ставни держали закрытыми. В спертом и влажном воздухе не хотелось шевелиться. Мы с Мириам несколько раз оставались наедине, но чувствовали себя неловко, не вставали со стульев и не разговаривали. Мы обе ждали, когда они придут. Несколько раз, услышав какие-то звуки, мы в страхе вскидывали друг на друга глаза, предчувствуя недоброе. Не могли представить, что произойдет, когда Марфа и Мария приведут своего брата. Шло время, и напряжение росло. В конце концов, от неподвижности, жары и тишины я заснула. Меня разбудила Мириам, прошептав: «Они здесь. Пришли наконец».

Сестры были прекрасны как никогда. Они торжественно вошли в душную комнату, приблизились, и я увидела, сколько в них твердости, благородства и достоинства. Как будто случившееся отметило их особым знаком. Это чувствовалось в их манере держать себя, в улыбке, изнутри освещавшей их лица. Когда они подошли, я поняла, что они считают меня причастной к случившемуся, хотят прикоснуться ко мне, обнять, поблагодарить, как будто я имею отношение к воскрешению их брата.

Лазарь постоял в дверях, а потом медленно прошел в комнату. Он вздохнул, и все мы подались

к нему, и в этот момент, только в этот момент, у меня и, я думаю, у кого бы то ни было, появилась единственная возможность задать ему вопрос. Полутемная комната, неподвижность воздуха и то, что все мы, все четыре женщины, были способны молчать о том, о чем не следует говорить, давали такую возможность. В эти несколько секунд любая из нас могла бы спросить его о наполненной душами бездне, в которой он побывал. Что там: непроглядная, все поглощающая тьма или свет? Что там: вечное бодрствование, грезы или глубокий сон? Что там: голоса, или только молчание, или другие звуки — капающая вода, вздохи, эхо? Узнал ли он кого-нибудь? Встретился ли он со своей матерью, которую мы все так любили? Помнил ли о нас, пока скитался там? Были ли там кровь и боль? Что там: тусклый серый пейзаж или красная долина, окруженная скалами, или леса, или пустыни, или сплошная мгла? Страшно ли там? Хотелось ли ему вернуться обратно?

Стоящий в полутемной комнате Лазарь снова вздохнул, и что-то сломалось, единственная возможность была упущена — наверное, навсегда. Мириам спросила, не хочет ли он пить, и он кивнул. Сестры подвели его к стулу, он сел, сразу замкнувшись и отделившись от нас. Казалось, все

его внимание было направлено внутрь, к некой тихой силе, оставшейся в нем и не дающей ему спать, как сказали сестры, ни днем ни ночью.

Он так и не проронил ни слова, и мы отправились на свадьбу. Сестры вели его под руки, и невозможно было оторвать глаз от этого зрелища. Он двигался так, словно был переполнен оглушительным новым чувством — собственной смертью, словно был полным до краев кувшином родниковой воды, изнемогавшим под собственной тяжестью. Сначала я никак не могла отвести от него взгляда, а потом так старалась на него не смотреть, что совсем не думала о том, что меня ожидает, пока мы не приблизились к дому жениха, и я не увидела толпу, которая, как я знала, не имела к свадьбе никакого отношения. Здесь были не только уличные торговцы и разносчики, которых я видела раньше, но и большие шумные ватаги задиристой молодежи. Когда мы подошли ближе, все расступились, и шум стих. Сначала я подумала, что это — из-за Лазаря, которого сестры вели под руки. Но потом поняла, что замолчали все из-за меня, и пожалела, что пришла. Не знаю, откуда эти люди узнали о моем появлении. Все расступались передо мной, и мне это показалось забавным, словно я — важная особа, но ничего

забавного не было, и мне стало жутко, когда я увидела на их лицах страх и уважение. Я опустила глаза и продолжала идти на свадьбу по пыльной улице со своими друзьями, как будто ничего особенного не происходило.

Как только мы вошли, меня сразу отвели в сторону и посадили за длинный стол под навесом рядом с Марком, казалось, ждавшим моего прихода. Марк сказал, что остаться не сможет, что находиться рядом с нами опасно, и указал на фигуру, небрежно расположившуюся у входа. Мы прошли мимо этого человека, когда входили, но я его не заметила.

— Берегись его, — сказал Марк. — Он — один из немногих, кто вхож и к иудейским, и к римским властям, они ему платят. У него масличные рощи по всей долине, множество слуг и помощников, роскошный дом. Он редко покидает Иерусалим, разве чтоб навестить свои владения. Это человек без совести, самого низкого рода, он разбогател, не потому что умен, а потому что умеет душить бесшумно, не оставляя следов. Раньше его использовали для этого, но сейчас у него другое задание. Он будет решать, как поступить, и его послушаются. Он никого не пожалеет. То, что он здесь, значит, что вы пропали, если не будете

очень осторожны. Вам нужно как можно скорее вернуться домой. И тебе, и твоему сыну. Ты и тот, за кем они внимательнее всего следят, должны уйти еще до начала праздника, и будет лучше, если он изменит свою внешность, чтобы его не узнали. Ни с кем не говорите, не останавливайтесь, и пусть он не выходит из дома несколько месяцев, а лучше — несколько лет. Это — ваша единственная надежда.

Марк встал и подошел к небольшой компании за другим столом, а потом исчез. Я сидела одна, теперь зная, что человек у дверей за мной наблюдает. Мне он показался очень молодым и безобидным, почти невинным, с едва начавшей пробиваться на худых скулах и слабом подбородке жидкой бородкой. По его виду нельзя было сказать, что он способен причинить кому-нибудь вред. Выдавали разве что глаза: он останавливал взгляд на людях и предметах, стараясь не упустить ни малейший детали и все запомнить, а потом переводил взгляд дальше. Но этот взгляд был взглядом животного, на его лице не отражалось никаких мыслей, даже равнодушия, оно было безжизненным и тупым. На секунду наши глаза встретились, но я сразу отвернулась и стала смотреть на Лазаря.

Лазарь, без сомнения, умирал. Он вернулся в этот мир только для того, чтобы сказать ему последнее «прощай». Он никого не узнавал, едва мог поднести к губам стакан воды или проглотить маленький кусочек размоченного сестрами хлеба. Казалось, он прочно укоренился в ином мире и смотрел на сестер как на незнакомцев на рынке или на улице. Он был погружен в бездонное одиночество, словно, проведя четыре дня в могиле и воскреснув, он познал что-то, лишившее его покоя, словно вкусил, увидел или услышал нечто, наполнившее его чистейшей невыразимой болью, немыслимо его напугавшее. Он не мог рассказать, о том, что знает: вероятно, для этого просто не было слов. Какими словами можно такое выразить? Я смотрела на него и понимала, что это, чем бы оно ни было, ошеломило его, что полученное им знание, все увиденное или услышанное запало ему глубоко в душу, вошло в его кровь и плоть.

А потом нахлынула толпа — такая, какую я видела только однажды, во время голода, когда изредка привозили хлеб, и его всегда не хватало, и люди старались продраться сквозь толпу, а толпа все напирала сплошной массой. Я уже поняла, что народ, собравшийся на улице, пришел вовсе

не на свадьбу. Я знала, ради кого все они здесь, и когда он появился, то испугал меня сильнее, чем испугали слова Марка.

Мой сын был одет в богатые одежды и держался так, словно владел ими по праву. Его хитон был из невиданной ткани синего, почти пурпурного цвета, которого мужчины никогда не носили. Казалось, он стал выше ростом, но так только казалось из-за отношения окружавших его людей, его последователей, пришедших с ним, — ни у одного не было такой одежды, никто так не блистал. Ему понадобилось некоторое время, чтобы подойти ко мне, хотя он ни с кем не говорил и ни разу не останавливался.

Когда я встала, чтобы его обнять, он показался мне чужим, странно торжественным и величественным, и я поняла, что говорить нужно сейчас, очень тихо, пока не подошли другие. Я прижала его к груди.

— Ты в опасности, — прошептала я. — За тобой следят. Когда я выйду из-за стола, подожди немного, а потом иди за мной. Никому ничего не говори. Нам нужно уходить, убираться отсюда как можно быстрее. Когда появятся жених с невестой, я выйду, как будто подышать воздухом, и это будет сигнал. Иди за мной. Никому не говори,

что уходишь. Уходи один.

Не успела я закончить, как он от меня отпрянул.

— Что мне и тебе, жено? — спросил он, а потом повторил громче, так, чтобы все слышали:

— Что мне и тебе, жено?

— Я — мать твоя, — сказала я.

Но он уже заговорил с другими, напыщенно и загадочно, странными гордыми словами рассказывая о себе и своем предназначении. Я слышала, как он сказал, я слышала и видела, как склонились все головы при этих словах, я слышала, что он сказал, что он — Сын Божий.

Когда мы сели, я подумала, что, может быть, он обдумывает мои слова, что, когда появятся жених с невестой, я выйду и буду его ждать, но время шло, все больше и больше людей подходило дотронуться до него, и мы узнали, что снаружи тоже стоит множество народу, и я поняла, что он меня даже не слышал. Он был так возбужден, что не слышал никого. А когда появились жених с невестой и начались поздравления, я стала думать, что делать дальше. Я решила остаться и дожидаться другого удобного случая, может быть, когда стемнеет или рано утром мы сможем оказаться наедине, и он услышит мое предупре-

ждение. А потом, снова взглянув на него, я ясно поняла, какими глупыми покажутся ему слова кроткой и недалекой женщины, которая считает, что знает больше его. Мне очень захотелось, чтобы Марк был рядом, но, посмотрев на дверь, я поняла, почему он ушел: тот человек, душитель, все еще стоял там, уже в компании нескольких здоровяков, которым он показывал на кого-то в толпе. В эту секунду он перехватил мой взгляд, и я испугалась сильней, чем когда услышала слова о Сыне Божьем: я поняла, что не упустила возможность забрать своего сына, нет, у меня никогда и не было такой возможности, мы все были обречены.

Я почти ничего не ела, и не помню, что там была за еда. Хотя мы с сыном просидели бок о бок больше двух часов, мы не разговаривали. Сейчас это кажется странным, но ничего странного в нашем молчании не было. Атмосфера была столь напряженной, а истеричные крики с улицы — такими громкими, что было не до простого разговора — слова бы значили не больше, чем крошки на полу. Как Лазарь был окутан со всех сторон пеленой смерти, словно непроницаемым для других облачением, так и мой сын был охвачен особым чувством, чувством опьянения жизнью, чистым,

как небо в ветреный день, созревшим, как плоды на деревьях, ждущие, когда их сорвут, чувством безграничности своих сил, своего дара. В нем ничего не осталось от ребенка, каким я его помнила, или от подростка, который был счастлив видеть меня по утрам, когда я приходила к нему поболтать. Тогда он был прекрасен, нежен и полон желаний. Теперь в нем не осталось никакой нежности, он был воплощением мужественности, уверенности в себе и излучал сияние. Да, сияние, свет, поэтому не было ничего, о чем мы могли бы поговорить в эти два часа, такой разговор был бы разговором со звездами или с луной.

В какой-то момент я заметила, что гостей стало еще больше и что все внимание приковано к нашему столу, а не к столу жениха с невестой. Я заметила, как Марфа и Мария под руки вывели, почти вынесли, Лазаря, заметила, что душитель все еще здесь, но теперь я старательно избегала его взгляда. И тогда поднялся крик, что недостает вина, и несколько человек подошли к нам. Эти гости пришли недавно, они были возбуждены, на лицах их читалась вера и мольба, а в голосах звучали истеричные нотки. Еще больше голосов стали выкрикивать, что не осталось вина, обращаясь почему-то ко мне, будто я могла чем-то

помочь. Я пристально посмотрела на них, надеясь смутить, но они кричали все громче, и тогда я сделала вид, что не слышу. Возможно, я и выпила несколько глотков вина, но мне было все равно, закончилось оно или нет. Я подумала, что некоторым из людей, стоявших у нашего стола, вина уже и так довольно. Но мой сын встал и попросил окружавших его принести шесть каменных водоносов, наполненных водой. Их притащили с удивительной быстротой. Я не знаю, была ли во всех них вода или в каких-то было вино, но в том, что стоял рядом со мной, точно была вода. Поднялся крик и неразбериха, никто не понял, что произошло, пока не послышались голоса: «Он превратил воду в вино!» Гости просили жениха и его отца подойти и отведать нового вина, и один из них сказал, как странно и необычно для хозяина сберегать хорошее вино напоследок. Отовсюду послышались одобрительные возгласы, и все захлопали в ладоши в восхищении.

Никто не заметил, что я не разделяла общего восторга. Но каким-то образом суета вокруг относилась и ко мне, словно мое присутствие помогло превратить воду в вино. Когда волнение улеглось и большинство гостей расселось по местам, я решилась заговорить еще раз. Я собиралась

повторить то, что уже говорила, но сделать это более настойчиво и убедительно. «Ты — в страшной опасности», — начала я, но тут же осеклась, увидев, что все слова бесполезны, и вдруг встала, как будто хотела отойти только на минутку, вышла из комнаты и пошла к дому Мириам. Взяв свои вещи, я отправилась обратно, в Назарет.

Тогда мне казалось, что ничего хуже уже и быть не может — когда я подошла туда, где надеялась увидеть караван, направляющийся домой, никакого каравана не было. Спросить было не у кого, и не было никакого укрытия. Но других мест я не знала, и поэтому осталась ждать там, на самом солнцепеке. Через некоторое время я заметила маленькое деревце и села в его тени, но, когда полил дождь, деревце не спасло. Небо было таким синим, день — таким жарким, что резкой смены погоды я совсем не ожидала. Обрушился дождь и подул ветер. Мне некуда было спрятаться. Я сделала, что смогла: накрылась и сжалась в комок под деревом. Я все ждала, мало-помалу начали собираться другие люди, хотя дождь и гроза не прекращались. Люди сказали, что караван будет, и другого места, чтобы его дождаться, нет. И я осталась, промокшая до нитки, другого выбора у меня не было. Я знала, что в мешке у меня лежит

сухое платье, и надеялась переодеться, когда закончится дождь. Ждать пришлось всю ночь. Я не была голодна — в толпе был торговец снедью. Постепенно дождь стих, я сменила одежду и, должно быть, заснула. Проснулась я от рева скота и людских голосов, и перед зарей мы тронулись в путь. Я не знала, что стану делать дома, но, в начале своего пути, думала, что у меня нет выбора. На самом деле выбор был, был всегда, с той самой минуты, как я встала из-за стола: я могла вернуться.

Мы шли и шли, и временами я задумывалась, не вернуться ли мне, не попросить ли остановиться, не подождать ли встречного каравана, с которым можно пойти назад, туда, откуда я сбежала. Зачем? Для чего? Может, чтобы быть там и видеть то же, что видели другие. Может, чтобы быть рядом — если мне позволят быть рядом. Ничего не спрашивать. Просто смотреть. Знать. Тогда я не могла выразить свои чувства словами. Но эти мысли не покидали меня всю дорогу. Мы двигались уже довольно долго, и я поняла, что пора решаться. Во время одной из остановок я увидела вдалеке встречный караван, с которым могла бы вернуться, но, когда он приблизился, решила не проситься с ними. Я пройду до конца

этот путь домой.

* * *

Я думала, что, когда вернусь, никто не будет меня беспокоить. Изо всех сил я старалась не думать о том, что видела и слышала. Я вернулась к обычной жизни: с утра, как всегда, молилась, потом шла за водой, кормила скотину, работала в саду и раз в несколько дней выходила набрать щепок и дров для очага. Мне было нужно очень мало. В жаркие дни я сидела одна в затемненной комнате и не открывала дверей, если стучали. Я не открыла, даже когда пришли трое старейшин из синагоги и стали звать меня и громко колотить в двери. Когда наступала ночь, я ложилась на кровать и иногда засыпала. Мало-помалу я поняла, что мой дом выделяют среди других, что за мной следят, смотрят, как я хожу за козами или кормлю кур. Когда я шла за водой, люди у колодца умолкали и расступались, пропускали меня с моим водоносом и не говорили ни слова в моем присутствии. Когда я потихоньку входила в синагогу, женщины отодвигались, уступая мне место, и никогда не садились рядом. Но некоторые все же со мной заговаривали, и я узнавала новости. Это было странное время, когда я старалась не

думать, не давать волю воображению, не мечтать и даже не вспоминать, а мысли приходили, как непрошеные гости, и требовали времени, времени, которое превращает беззащитного младенца в маленького мальчика, со всеми его страхами, неуверенностью и детской жестокостью, а позже — в юношу, человека с собственными словами, мыслями и тайными чувствами.

А потом время превратило его в мужчину, сидевшего рядом со мной на свадьбе в Кане, не обращающего на меня внимания, никого не слышащего, мужчину, полного силы — и сила эта, казалось, не оставляла места воспоминаниям о том, что когда-то ему нужно было мое молоко — поесть, моя рука — подержаться, делая первые шаги, мой голос — успокоиться перед сном.

Странно, что теперь, когда от него исходила сила, я любила его больше и еще больше хотела защитить, чем тогда, когда он был мал и слаб. Не то чтобы я видела его насквозь и не верила, что он и в самом деле силен. Не то чтобы я до сих пор считала его ребенком. Нет, мне было ясно, что он и в самом деле силен, и эта сила никуда не денется. Но мне казалось, что она появилась внезапно, ниоткуда, и, спала я или бодрствовала, все мои мысли были только о том, как его уберечь,

и моя любовь становилась все сильней. Любовь к нему, кем бы он теперь ни был. Я думала, что не слушаю людских пересудов, но какие-то разговоры, на улице или у колодца, все же до меня долетали, и я узнала, что его последователи сели в лодку и уплыли. Они уплыли, когда мой сын скрылся в горах, когда он не захотел быть с ними, когда он не ушел со мной, хотя я его умоляла, а остался один. Наверное, он тоже что-то заметил и почувствовал опасность. Его последователи, как мне сказали, нашли на берегу старую лодку и почему-то направились в Капернаум. Было темно, внезапно подул сильный ветер, на море поднялось волнение. Переполненное суденышко болталось в волнах и наполнялось водой, и все думали, что вот-вот утонут. И тогда, сказали мне, он явился им в лунном свете и пошел, как уверяли меня мои соседи, по воде, как по гладкой твердой земле. И своим могуществом усмирил волны. Он сделал то, что никому было не под силу. Наверное, были и другие истории, и, может, эту я слышала не до конца, а может, там еще что-то случилось, или, может, ветра не было, или он заставил его утихнуть. Не знаю. Я об этом не задумывалась.

Я знаю, что однажды, когда я стояла у колод-

ца, ко мне подошла женщина и сказала, что он, если захочет, может устроить конец света или сделать предметы в два раза больше, и знаю, что я отвернулась и пошла домой, так и не наполнив своего кувшина, и в тот день больше не выходила. Я жила, окутанная туманом ожидания, стараясь не думать и не вспоминать. Я тихонько ходила по дому, по саду, по полю. Почти ничего не ела. Иногда соседи оставляли еду на вбитом в стену крюке, и ночью я ее забирала. Однажды, когда в дверь застучали сильнее и настойчивее обычного и раздались громкие мужские голоса, я услышала, как соседи собрались на дороге и сказали пришедшим, что в доме никого нет. Когда спросили, не это ли дом моего сына и не жила ли я в нем, соседи сказали, что да, но сейчас дом пуст и заперт, и к нему уже давно никто не приближался. Я стояла за закрытой дверью и слушала — беззвучно, почти не дыша.

Я ждала. Шли недели. Иногда я слышала новости. Я знала, что он не вернулся в горы, и знала, что Лазарь все еще жив и, разумеется, о нем говорят на каждом углу и у каждого колодца — везде, где собирается народ. Я знала, что теперь люди поджидают Лазаря у его дома, надеясь хотя бы взглянуть на него, что никто его больше не

боится. Наступило раздолье для болтунов и любителей посплетничать, ходили разные слухи, постоянно появлялись новые рассказы — правдивые и невероятно преувеличенные. Я жила почти в полной тишине, но каким-то образом суматоха, которой был пропитан сам воздух, воздух, где мертвые воскресают, вода превращается в вино и даже морские волны усмиряются под ногами человека, это общее беспокойство пробиралось в мои комнаты, словно всепроникающий туман, словно сырость.

* * *

Я ждала, что Марк придет, и он пришел. Я слышала, как он сначала стучал, а потом спрашивал соседей, где я. Я открыла дверь. Уже темнело, но я не зажигала лампы, я не зажигала ее уже больше месяца. Усадив Марка за стол, я предложила ему воды и фруктов и попросила рассказать мне все, что он знает. Он сказал, что пришел сказать мне одну вещь, и я должна быть готова к худшему. Он сказал, что решение уже принято. После этого он замолчал, и я подумала, что моего сына вышлют, или запретят появляться на улице, или выступать перед людьми. Вдруг, неожиданно для самой себя, я вскочила и бросилась к двери — выйти,

не слышать того, что он скажет. Но было поздно. Слова Марка прозвучали спокойно и четко:

— Его казнят на кресте.

Я обернулась и задала единственный вопрос, который теперь можно было задать:

— Когда?

— Скоро, — сказал он. — Он возвращается в столицу и с ним еще больше народа. Власти знают, где он, и могут схватить его в любую минуту.

Я не могла удержаться от глупого вопроса:

— Можно как-то этому помешать?

— Нет, — сказал он. — Тебе надо уходить — как только рассветет. Они будут разыскивать всех его последователей.

— Но я — не его последователь, — сказала я.

— Поверь мне: за тобой придут. Тебе нужно уходить.

Так и не присев, я спросила, что собирается делать он.

— Я уйду прямо сейчас, но назову тебе дом в Иерусалиме, где ты будешь в безопасности.

— Где я буду в безопасности? — спросила я.

— Сейчас ты будешь в безопасности в Иерусалиме.

— А где мой сын?

— Возле Иерусалима. Уже выбрали место для

казни. Недалеко от города. Если у него и есть шанс спастись, то он — в Иерусалиме, но мне сказали, что шансов нет, и уже давно. Они выжидают.

Однажды я видела казнь на кресте — римляне распяли одного из своих. Я стояла довольно далеко и помню, как думала, что казнь эта — самый отвратительный, самый страшный из человеческих поступков. Еще я думала, что мне уже много лет, и я становлюсь все старше, и что, может, мне повезет, и я больше не увижу ничего подобного до самой смерти. Эта казнь надолго врезалась мне в память и заставляла вздрагивать от ужаса. Я старалась думать о другом, забыть эту невыразимо жуткую картину, картину безграничной жестокости. Но как именно наступала смерть, кололи ли человека копьями и мучили ли, пока он висел на кресте, или он медленно умирал от солнца и жары, я не знала. Изо всех мыслей, приходивших в голову, эта имела ко мне меньше всего отношения. Я была уверена, что никогда больше такого не увижу и что меня это никак не касается. Вдруг я спросила у Марка, сколько длится казнь, как будто бы она была не чем-то из ряда вон выходящим, а совершенно заурядным делом. Он ответил:

— Иногда — несколько дней, иногда — несколь-

ко часов. По-разному.

— А от чего это зависит? — спросила я.

— Не спрашивай, — сказал он. — Лучше не спрашивай.

Потом он встал, собрался уходить и извинился, что не может проводить меня. Он сказал, что если что-то и может сделать, то нужно, чтобы никто не знал о его участии. Он посоветовал мне надеть плащ и передвигаться осторожно, убедиться, что меня никто не преследует. Я попросила его еще немного задержаться. Меня беспокоило, как он говорил обо всем этом — очень быстро и по-деловому.

— Откуда ты все знаешь? — спросила я.

— У меня есть осведомители, — сказал он торжественно, чуть ли не с гордостью. — Люди в нужных местах.

— И уже все решено? — спросила я.

Он кивнул. У меня было чувство, что если бы я смогла придумать еще один вопрос, сказать еще хоть что-нибудь, то смысл услышанного изменится и станет не так ужасен. Он стоял в дверях и ждал.

— Я найду его в Иерусалиме, если доберусь? — спросила я.

— В том доме, — ответил он, — будут знать

больше, чем я.

Мне хотелось спросить его, почему я должна доверять людям, которые знают больше, чем он, но лишь молча смотрела на него, а он стоял на пороге, и я до последней секунды думала, что должна спросить что-то еще. Задать только один вопрос. Но какой, я не знала. После ухода Марка, может быть, потому, что я так долго жила одна, дом словно бы насквозь пропитался запахом беды. Чем больше я размышляла, тем яснее понимала, что не знаю почему, но не должна идти туда, куда он сказал, а что надо идти в Кану к Мириам, и найти Марфу и Марию, и спросить, что мне делать.

* * *

Я надела плащ, как он и велел. Если нужно было что-то сказать, говорила тихо. Разыскав караван, направлявшийся в Кану, я двинулась с ним, останавливаясь, когда все останавливались, стараясь держаться среди людей, не выделяться. Все говорили гораздо смелее, чем обычно, ругали римлян, фарисеев, старейшин, даже сам Храм, законы и налоги. Женщины шумели не меньше мужчин. Словно наступили новые времена. Постепенно разговоры перешли на чудеса, которые совершал

мой сын и его последователи, и многие мечтали к ним присоединиться или хотя бы узнать, где они сейчас.

Неизбежное уже давило на меня. Временами я забывалась и думала о другом, но цель моего путешествия всегда была тут как тут — то выскакивала из ниоткуда, как испуганное животное, взрывалась у меня в голове, то подкрадывалась медленно и коварно, вползала, как ядовитая змея. На одном из ночных привалов я бродила под усыпанным звездами небом и вдруг подумала, что скоро звезды померкнут, ночная тьма станет совершенно непроглядной и весь мир изменится, но сразу же поняла, что изменится он только для меня и немногих моих знакомых, что только мы будем смотреть в ночное небо и видеть лишь беспросветную тьму. Звезды будут казаться нам подделкой, насмешкой, словно они так же сбиты с толку, как и мы сами, будут казаться остатками чего-то прошлого, а их свет — лишь безответной мольбой. Наверное, иногда я все же засыпала, но скоро уже не стало ни минуты — ни днем ни ночью, когда я не думала бы о цели своего путешествия. Эта мысль прогнала все остальные.

* * *

До Мириам уже дошли слухи, и по ее испуганному взгляду я поняла, что она не хотела мне о них говорить. Я сказала, что уже все знаю. Поэтому и пришла. Но мои слова ее не успокоили. Она стояла в дверях, а я — на улице, и вдруг я поняла, что меня не впустят, что она на самом-то деле загораживает мне вход.

— Что тебе известно? — спросила я.

— Мне известно, что они готовят облаву на всех его друзей и последователей, — сказала она.

— Тебе страшно?

— А тебе не было бы?

— Мне уйти?

Она не стала увиливать.

— Да.

— Прямо сейчас?

Она кивнула, и выражение ее лица, ее поза и весь вид в эту секунду сказали мне больше, чем я узнала о ней за всю жизнь. Я поняла, что столкнулась с чем-то совершенно безжалостным, с чем-то темным и зловещим, что не укладывалось в голове. Мне показалось, что меня сейчас схватят, прямо у двери, и уволокут, чтобы никогда уже не выпустить на свободу. Тут я все поняла и

не вскрикнула лишь потому, что была уверена: Мириам сумеет заставить меня замолчать. Вместо этого я поблагодарила ее и ушла. Мне было ясно, что мы никогда больше не увидимся, и, направившись к дому Марфы и Марии, я была готова, что меня не впустят и туда.

Сестры меня уже ждали. Лазарь снова лежал в затемненной комнате и не мог говорить. Он то и дело стонал и кричал во сне. Марфа сказала, что на рассвете все проснулись от его душераздирающего воя. Я рассказала Марфе и Марии о приходе Марка и о том, как меня встретила Мириам. Я объяснила, что за мной могут следить и что готова уйти немедленно. Они ответили, что, скорее всего, за их домом тоже следят и что одной из них нужно будет остаться, но они уже решили, что если я появлюсь и попрошу помочь, то Мария проводит меня в Иерусалим — мы уйдем потихоньку, под покровом ночи. Даже если за нами следят, то нам ничего не остается, кроме как постараться оторваться от преследователей. И тут мне стало ясно, что сестры не во всем согласны друг с другом. Марфа сказала, что его должен судить Пилат, а потом народу предложат сделать выбор, отпускать его или нет, но, сказала она, старейшины уже все решили, и выбор народа ни-

чего не меняет. И римляне, и старейшины хотят его смерти, но боятся заявить об этом открыто.

Мария заспорила с ней, сказала, что что-то должно случиться, и все решения и предсказания не будут иметь значения, что пришел конец света и эти дни будут последними и, одновременно, — началом чего-то нового. Ее слова дали мне надежду, что мы сможем убежать, неважно куда. Я представила, как веду своего сына сквозь толпу, кроткого, смирного и почему-то испуганного, как он тихо идет, опустив глаза в землю, а его последователи разбежались. Но Марфа стала настаивать, что священники позаботились, чтобы на площади были их люди, которым приказано требовать освобождения вора Вараввы, и они так и поступят. Моего сына не освободят.

— Его уже схватили, — сказала Марфа. — И уже решили, что с ним делать.

Теперь они неотрывно глядели на меня, боясь произнести еще невысказанное слово.

— Ты имеешь в виду, распять его? — спросила я.

— Да, — сказала Марфа. — Да.

И снова заговорила Мария:

— Но это будет началом.

— Чего? — спросила я.

— Новой жизни, — сказала она.

Ни Марфа, ни я не обратили внимания на эти слова.

— Можно ли что-то сделать? — спросила я у Марфы.

Теперь в замешательстве были обе. Марфа кивнула на дверь комнаты, где лежал Лазарь.

— Спроси у брата. Сестра права. Близится конец мира, — сказала она. — Или конец мира, известного нам. Случиться может все что угодно. Ты должна идти в Иерусалим.

* * *

В Иерусалиме мы остановились в каком-то доме. Мне было странно смотреть на людей, слышать, как они разговаривают между собой, ведь я никогда не перемолвлюсь с ними словом, никогда их не узнаю, хотя мы ничем не отличаемся, по крайней мере внешне: ходим по одной земле, говорим на одном языке. Но в то же время между нами нет ничего общего, никто из них не догадывается о моих чувствах и не может их разделить. Мне казалось, что мы с ними из разных миров. Мне удивительно было, что я изнемогаю под тяжким бременем, а его никто не видит, что в глазах незнакомых людей я выгляжу совершенно

обычно, что вся тяжесть — внутри.

Я поняла, что в доме, где мы остановились, было множество его последователей, еще остававшихся на свободе, и что Марии велели привести меня сюда. Она уверяла, что здесь я в безопасности, что дом надежный, хотя мне так не казалось. Я спросила, откуда она это знает, в ответ она улыбнулась и сказала, что будут нужны свидетели.

— Кому? — спросила я. — Для чего?

— Не спрашивай, — сказала она. — Верь мне.

В первую ночь один из тех, кто много лет назад приходил к нам в дом в Назарете, запер нас на ключ. Он смотрел на меня холодно и с подозрением.

Мой сын был уже под стражей, уже в тюрьме. Он дал себя схватить, и, проведя много часов среди его последователей, я поняла: они считают, что все идет как надо, что события эти — часть великого избавления, совершающегося в мире. Я хотела спросить их, значит ли это, что его не казнят, что его отпустят, но все они, и Мария тоже, теперь говорили одними загадками. Мне стало ясно, что ни на один вопрос не будет прямого ответа. Я снова оказалась среди безумцев, мятежников, заик, припадочных, перевозбужденных, задыхающихся от волнения — понять их было

невозможно. Среди них я заметила нескольких предводителей: к их словам прислушивались, при них все замолкали, их места были во главе стола, им не было дела до меня и Марии, они требовали, чтобы женщины, сновавшие туда-сюда, пригнув головы, как послушные животные, приносили им еду.

* * *

На следующий день все мы вышли из дома. Одному из тех, кто до сих пор приходит ко мне, поручили проводить нас с Марией. Он велел нам не отходить ни на шаг и ни с кем не разговаривать. Мы шли по узким улицам в лучах утреннего солнца, пока не оказались на огромной площади, запруженной народом.

— Всем этим людям, — сказал мне наш провожатый, — платят священники. Они здесь, чтобы требовать освобождения разбойника. Пилату это известно, священники уверены, что все получится, может, даже и разбойнику уже сказали. Это — начало нашего избавления, великой зари для всего мира. Это известно, указано так же четко, как моря и земли указаны на карте.

К тому моменту, когда он замолчал, я уже устала идти и стерла ногу. Я слушала его, закрыв

глаза, и чувствовала, что голос звучит неестественно, будто он повторяет чужие заученные слова, запавшие ему в память.

С трудом верилось, что все происходящее на площади подстроено, но настроение людей было совсем не таким, как на улицах Каны, не таким, как во время свадьбы: никто не кричал, не суетился, не казалось, что ждут чего-то невероятного. По несколько человек тут и там стояли старики. Вряд ли кто-то узнал нас, но мы все равно держались в тени, я и Мария, и старательно делали вид, что нет ничего странного в том, что мы здесь и что мы и наш провожатый оказались на площади не случайно, как и другие.

Сначала мне не было слышно, что говорят с балкона здания на противоположной стороне площади, даже рассмотреть что-то было нелегко. Нам пришлось выйти из тени на солнце и пробраться в гущу людей. На балконе стоял Пилат, многие шептали его имя, и слова его звучали все громче:

— В чем вы обвиняете человека сего?

И все как один прокричали ему в ответ:

— Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе!

Тут кто-то толкнул меня и, из-за шума вокруг, я

пропустила следующие слова, но Мария все слышала и передала мне. Пилат сказал, чтобы народ взял узника и судил его по иудейскому закону.

Пилат все еще стоял на балконе, один, а поодаль стояли двое священников. На этот раз я услышала ответ толпы, он прокатился по ней, как волна.

— Нам не позволено предавать смерти никого, — ответили люди, и по тому, как они это сказали, стало ясно, что все действительно было подстроено заранее. Я не могла себе представить, что такое возможно. Потом Пилат скрылся в доме, и настроение на площади изменилось, разговоры и шум затихли, и я ощутила, как что-то произошло, как все напряженно смотрят на балкон. Я ощутила: толпа жаждет крови. Я чувствовала это по выражениям лиц, по стиснутым зубам, по возбужденному блеску глаз. Многие лица потемнели, стали пустыми, и, чтобы заполнить эту пустоту, нужна была жестокость, боль и крики страдания. Теперь, когда они получили разрешение, им хотелось лишь выплеснуть свою ярость. Из покорной чужой воле толпы они превратились в сборище жаждущих крови безумцев: им не нужно было ничего, кроме душераздирающих воплей, разорванной плоти и раздробленных костей.

Шли минуты, мы стояли и ждали, и я наблюдала, как эта жажда распространяется от одного к другому, как она охватывает всех на площади, словно кровь, неумолимо проникающая во все члены с биением сердца.

Когда Пилат снова вышел и заговорил, люди слушали его, но слова уже не имели значения.

— Я никакой вины не нахожу в нем, — сказал он. — Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?

Толпа была уже готова и прокричала в ответ: «Не его, но Варавву!» Тогда появился разбойник Варавва, и его отпустили под всеобщий одобрительный рев. А потом откуда-то раздался крик, и стоявшие впереди смогли увидеть что-то, невидимое нам, все нетерпеливо задвигались, еще больше людей хлынуло на площадь, так что мы втроем оказались уже не с краю, а почти в середине. Мы молчали, стараясь остаться незамеченными. Теперь никто не сводил глаз с балкона, все знали, что сейчас случится, и лишь ждали той минуты, когда их страстное желание будет удовлетворено.

И минута эта настала — народ дружно ахнул, выражая свой восторг, оторопь и нетерпение, но

и этого было мало, и общий вздох тут же сменился криками, улюлюканьем, визгом и свистом, потому что на балконе в окружении солдат, с залитым кровью лицом и в терновом венце, впившемся в лоб, появился мой сын. На нем была пурпурная царская мантия, под которой угадывались связанные за спиной руки. Солдаты толкали его по балкону, а толпа ревела и гоготала. По тому, как содрогалось от ударов его тело, я видела, что он ослаб. Он выглядел сломленным, почти смирившимся. Пилат снова начал говорить, но крики людей перебивали его, и он возвысил голос, чтобы его было слышно.

— Се Человек! — сказал он.

И я услышала, как священнослужители, стоявшие под балконом и по краям площади, начали выкрикивать: «Распни его, распни его!» Пилат вновь потребовал тишины. Он подошел к моему сыну, чтобы поддержать его и заслонить от солдат, и сказал священнику: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». И один из священников прокричал: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим!» Пилат опять ушел с балкона и приказал увести заключенного вслед за ним. Когда он обернулся, я четко увиде-

ла его лицо и заметила, что он смотрит вниз со страхом и изумлением. Тогда мне казалось, что Пилат размышляет, не отпустить ли моего сына, но сейчас я понимаю, что надежда оставалась только у меня. Остальные знали, что идет игра, в которой на кону будущее, и что сейчас имеет значение лишь одно — убийство. Поэтому, когда они возвратились и Пилат прокричал «Се Царь ваш!», толпа взорвалась. Все вокруг орали: «Возьми, возьми, распни его!» — будто эти слова обещали бесконечную радость и удовольствие, будто в них заключались все их стремления. Тогда Пилат снова прокричал: «Царя ли вашего распну?» — но сказать такое было все равно, что бросить палку собаке. Они знали правила игры и ответили: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда Пилат предал его народу — все только этого и ждали. Каждый хотел лично участвовать в подготовке страданий, которых так добивался. Понемногу мы стали проталкиваться к выходу с площади и оказались перед внезапно собравшейся группой мужчин, которые громко подзывали к себе народ. Было такое чувство, что все они отравлены ненавистью: она сквозила в энергичных движениях, в криках, смехе, приказаниях. Мужчины прокладывали путь для зловещей процессии, направлявшейся

к холму.

Пока мы пробирались вперед, стараясь не терять друг друга из виду, каждый из нас, наверное, внешне ничем не отличался от окружающих, наверное, казалось, что и нас переполняет возбуждение, что и мы предвкушаем, как над тем, кто считал себя царем, будут издеваться, как его прогонят перед народом, как станут осыпать оскорблениями, а потом оставят на холме, у всех на виду, умирать мучительной смертью. Странно, но боль в натертой ноге — сандалии были слишком тесными, в таких долго по жаре не проходишь — иногда отвлекала меня от происходящего.

* * *

Когда я увидела крест, у меня перехватило дыхание. Крест был готов, крест ждал. Он был так тяжел, что нести его на спине было невозможно, и моего сына заставили волочить его сквозь толпу. Я заметила, что несколько раз он пытался стащить с головы терновый венец, но напрасно, шипы лишь глубже впивались в кожу лба — до самой кости. Каждый раз, когда он поднимал руку, чтобы облегчить боль, люди, шедшие сзади, нетерпеливо подгоняли его ударами дубинок и

хлыстов. И на время он, казалось, совершенно забывал об этой боли и тащил свой крест дальше. Мы быстро обогнали его. Я все еще надеялась, что у его последователей есть план, что они выжидают, смешавшись с толпой, как и мы. Я не хотела об этом спрашивать, да теперь это было и невозможно: я думала, что каждое наше слово или неосторожный взгляд могут сделать жертвами и нас, что нас могут забить ногами или камнями, могут схватить.

Все изменилось, когда я поймала его взгляд. Мы шли впереди, я внезапно обернулась и увидела, что он снова пытается вытащить шипы изо лба, но ничего не получается, легче не становится, и вдруг на мгновение он поднял голову и встретился со мной глазами. Все его муки и ужас, казалось, разом ударили мне в грудь. Я вскрикнула и рванулась к нему, но мои друзья удержали меня, Мария шептала, что нужно вести себя тихо и не привлекать внимания, не то меня узнают и схватят.

Передо мной был мой родной мальчик, но сейчас он был еще беззащитнее, чем в первые дни своей жизни. Когда ребенком я держала его на руках, то порой думала, что теперь будет кому ухаживать за мной в старости, будет кому похоронить. Тогда, если бы я только могла представить,

что увижу его окровавленного среди толпы, жаждущей еще большей крови, я бы зарыдала, как рыдала в этот день, и рыдания рвались бы из самой глубины моего существа, из самой сути. Остальное — лишь плоть, кровь и кости.

Мария и наш провожатый все твердили, что не надо с ним заговаривать, не надо кричать, и вели меня к холму. Было несложно затеряться в толпе, заполнившей все вокруг. Люди шумели, смеялись, ели и пили, рыжеволосые солдаты с грубыми лицами и щербатыми ртами перекрикивались на непонятном языке. Все было как на рынке, только еще оживленнее, как будто то, что должно произойти, принесет прибыль и продавцу, и покупателю. Мне все время казалось, что незаметно ускользнуть не составит труда, и я надеялась, что его друзья в этой суматохе спланировали побег в какое-нибудь безопасное место. Но тут я увидела, что на вершине холма роют яму, и поняла, что люди не шутят, что они здесь только с одной целью, хоть и кажется, что собрались случайно.

Мы ждали, и примерно через час появилась процессия. Каким-то образом вдруг стало явным различие между теми, кто пришел сюда за делом, выполнить работу, за которую заплатят, и

теми, кто явился просто поглазеть. Странно, что многие почти не обращали внимания на то, как его прибивают к кресту, а потом при помощи веревок стараются подтащить крест к вырытой яме и закрепить.

Пока вбивали гвозди, мы стояли в стороне. Каждый гвоздь был длинней моей ладони. Пять или шесть человек держали его и вытягивали руку вдоль перекладины. Когда ему в запястье начали вбивать первый гвоздь, он взвыл от боли и попытался вырвать руку. Кровь брызнула фонтаном, он извивался и оглушительно кричал, а они били молотком и прижимали его руку к перекладине, загоняя острие гвоздя в дерево. Одна рука была прибита, и он изо всех сил пытался не дать им другую. Палач вцепился ему в плечо, но все же не смог отвести прижатую к груди руку и позвал на помощь. В конце концов с ним справились, и второй гвоздь был забит. Теперь обе руки были растянуты по перекладине.

Слыша его крики, я старалась заглянуть ему в лицо, но оно было так искажено страданием и залито кровью, что я не могла разглядеть ни одной знакомой черты. Я узнавала лишь голос, этот голос мог принадлежать ему одному. Я огляделась по сторонам. Люди вокруг занимались своими

делами: ковали и кормили лошадей, забавлялись играми, перекидывались шутками, разжигали костры, чтобы приготовить еду, а дым поднимался к небу и разносился далеко вокруг. Кажется, невозможно понять, как я могла стоять и смотреть на все это, вместо того чтобы бежать к нему или звать его. Но я не шевелилась. Я смотрела, объятая ужасом, но не двигалась с места и не издавала ни звука. Так велика была их решимость, что ей ничто не могло противостоять. Ничто не могло противостоять их сосредоточенности и быстроте. Но все равно, кажется невероятным, что мы могли просто смотреть, что я решила не подвергать себя опасности. Мы просто смотрели, потому что другого выбора не было. Я не закричала и не побежала к нему на помощь, потому что это было бесполезно. Меня отшвырнули бы, как мусор, принесенный ветром. Но странно и невозможно понять теперь, через столько лет, что я могла владеть собой, рассуждать, смотреть, и ничего не делать, и знать, что поступаю правильно. Мы стояли в стороне, держась друг за друга. И всё. Мы стояли в стороне, а он выл от боли и выкрикивал непонятные слова. Может, мне надо было тогда рвануться к нему, несмотря ни на что. Это ничего бы не изменило, но, по крайней мере,

я сейчас бы не думала об этом снова и снова, не понимая, как я могла не броситься к нему, не оттащить их и не кричать, как я могла молча смотреть, не двигаясь с места. Но было так.

Когда я почувствовала, что способна говорить, то спросила нашего провожатого, когда он умрет, и услышала, что из-за гвоздей, потери крови и жары, наверное, скоро, но все же он может прожить еще целый день, если ему не перебьют голени, вот тогда он умрет скорей. Мне сказали, что здесь есть главный, который знает, как сделать смерть быстрее или медленнее, сведущий в этом деле, как другие сведущи во времени сева, сбора плодов или рождения детей. Мне сказали, они могут сделать так, что не прольется больше ни капли крови, могут отвернуть крест от солнца или проткнуть умирающего копьем, и тогда он умрет через несколько часов, еще до ночи. Тогда он умрет еще до шаббата, но для этого, сказали мне, нужно будет разрешение римлян, самого Пилата. А если Пилата не найдут, в толпе всегда есть люди, которые могут заменить его и дать разрешение. Я еле удержалась, чтобы не спросить: «Может, еще не поздно спасти его, спасти и сохранить ему жизнь?» — но в глубине души я знала, что уже слишком поздно. Я видела гвозди,

которые вбили ему в запястья.

Потом я увидела, как стали поднимать другие кресты с приговоренными, но, то ли дерево было слишком тяжелым, а то ли кресты были плохо сколочены, потому что как только их ставили стоймя, они снова падали.

Я заставляла себя смотреть вокруг, на тучу, клубившуюся в небе, на камень, на человека рядом, на что угодно, лишь бы отвлечься от стонов, доносившихся с креста. Я спрашивала себя, можно ли как-нибудь представить, что этого не происходит, что это было очень давно или будет когда-нибудь потом, не со мной. Я смотрела очень внимательно и могу сказать, что группа верховых — римляне и старейшины — была неподалеку, и по тому, как они пристально следили за всем, как гарцевали друг вокруг друга, я поняла, что это они за все отвечают, что многое другое — случайность, просто часть подготовки к шаббату, но эти холеные, серьезные и мрачные мужчины здесь совсем не случайно и точно знают, что делать. Вдруг я заметила среди них своего двоюродного брата Марка и поняла, что он тоже меня увидел. Прежде чем мои спутники спохватились, я бросилась к нему, хотя понимала, что выгляжу глупой, беспомощной, навязчивой оборванкой. Наверно, я тянула

к нему руки, наверно, мои щеки были мокры от слез, наверно, все это было бессмысленно. Я заметила, что безразличие и озлобление других отражалось и на лице Марка, но при виде меня оно стало просто звериным, и он заорал, чтобы я убиралась прочь. Я помню, что не назвала его по имени. Я помню, что не сказала, что он мой брат. Я видела, как страх исказил его лицо, но быстро прошел и сменился решимостью отогнать меня от этих мужчин, к которым никто не смел приблизиться. Он кивнул кому-то — оказалось, что это тот самый, кто позже играл в кости рядом с телами, кто все время наблюдал за мной, кто, по-видимому, знал меня, и кому, я думаю, приказали схватить меня потом, когда сын мой умрет и толпа разойдется. Позже я поняла: все они были уверены, что мы останемся до конца, чтобы забрать и похоронить тело. Римляне знали, что мы не бросаем тела на произвол судьбы. Мы будем ждать, чем бы нам это ни грозило.

* * *

Мой страж, тот, что приходит сюда, и другой человек, тот, что нравится мне еще меньше, хотят, чтобы я простыми словами рассказала им об этих часах, хотят знать, кто что сказал, и

хотят знать о моем горе, только если я говорю «горе» или «скорбь». И хотя один из них был там вместе со мной, он не хочет писать о том, какая вокруг была неразбериха, о том, что мне, как ни странно, запомнилось небо, то темнеющее, то снова светлеющее, стоны, крики и завывания, доносившиеся с других крестов, и даже тишина, исходившая от его распятой фигуры. А еще дым костров — он становился все более едким, раздражал глаза, ведь ветра совсем не было. Они не хотят слышать, что один из крестов все время падал, и его приходилось выравнивать, не хотят слышать о человеке, который кормил кроликами хищную птицу, яростно бившую крыльями в тесной клетке.

Эти часы, каждая их секунда, были наполнены событиями. То мне казалось, что можно что-то сделать, то я понимала, что ничего уже сделать нельзя. То вдруг мои мысли становились совершенно спокойными, я думала о том, что раз это происходит не со мной — ведь не меня распяли на кресте, то значит, этого вообще нет. Я думала о нем, когда он был совсем крошечным, был частью моей плоти, когда сердце его рождалось из моего. Думала, что хорошо бы броситься к кому-то, чтобы меня обняли или чтобы спросить о чем-то.

Или наблюдала, не подадут ли знак, чтобы все поскорее кончилось. Или начинала понимать, зачем Марк заманил меня в город и назвал мне тот дом: чтобы схватить меня, когда все кончится или даже раньше.

А потом, в последний час, когда толпа начала расходиться и люди спускались с холма, уже не было времени думать. Не было времени смотреть по сторонам, пытаться отвлечься, В этот последний час муки того, кто висел на кресте под палящим солнцем, с гвоздями в руках и ногах, дошли до предела, он вскрикивал и с трудом ловил ртом воздух. А мы все ждали, сознавая, что конец близок, смотрели на его лицо, его тело, и не понимали, знает ли он, что мы рядом, пока, уже перед самым концом, он не попытался открыть глаза и сказать что-то. Никто не смог расслышать его слов, произнесенных с огромным усилием и все же слишком тихих. Он сделал это, чтобы мы знали: он еще жив. И, как ни странно, несмотря на его боль, несмотря на его унижение, я, хоть до того так страстно желала, чтобы все скорее кончилось, теперь этого не хотела.

Под конец наш страж, его последователь, тот, что приходит ко мне сейчас, платит за все и помогает мне, сказал, что, как только он умрет, нужно

сразу уходить, что другие омоют и похоронят его тело, что с противоположной стороны холма есть тропинка, и, если мы уйдем по ней по одиночке, он поможет нам скрыться. Но даже если нам удастся уйти, сказал он, за нами все равно будут следить, нас будут искать, поэтому нам придется идти по ночам, при свете звезд и луны, а днем — где-то прятаться. Когда он говорил, я смотрела ему в лицо и видела то же, что я вижу сейчас: не печаль, не сожаление, не беспокойство, а холодный расчет, как будто жизнь — это дело, которое надо сделать, как будто наше земное существование необходимо тщательно продумать и точно следовать плану.

— Он еще жив, — сказала я ему. — Еще жив. Я буду рядом, пока он не умрет.

Я бросила взгляд на тех людей неподалеку и заметила, что Марка с ними нет, и нет того человека, который следил за мной. Я озадаченно оглянулась, чтобы понять, где они: уходят или подошли к другим. И увидела, что оба они говорят с человеком, который был на свадьбе в Кане — с душителем, и показывают на меня, Марию и нашего провожатого, выделяя нас из толпы. Душитель смотрел и спокойно кивал, запоминая каждого из нас. Позже, много лет подряд, я

убеждала себя, что приняла такое решение из-за Марии, когда поняла, что это я привела ее сюда и теперь из-за меня ее задушат. Я помню, как Марк говорил мне, что этот человек умеет душить совершенно беззвучно, не оставив следов. Но на самом деле, когда я подбежала к нашему провожатому и сказала, что надо скорее уходить, как он и предлагал, по одному и тайком, а потом идти как можно быстрей, по ночам, туда, где мы будем в безопасности, я думала вовсе не о том, что молчаливый душитель может убить Марию, не о том, как тело ее будет извиваться, пытаясь вырваться из цепких пальцев, ломающих ей шею. Я думала о себе, пыталась спастись сама. Внезапно меня охватил страх, непереносимый страх, и я почувствовала, что теперь опасность угрожает мне, что она ближе, чем была все эти часы.

Только теперь я могу в этом признаться, только теперь я могу позволить себе это сказать. Многие годы меня утешала мысль, что я очень долго пробыла там и очень страдала. Но настала пора сказать, произнести эти слова: несмотря на ужас, несмотря на отчаяние, на крики, несмотря на то, что его сердце и плоть родились из моего сердца и плоти, несмотря на всю мою боль, которая навсегда осталась со мной и никуда не

исчезнет до самой смерти, — несмотря на все это, боль была его, а не моей. И когда возникла опасность, что меня утащат и задушат, моей первой и последней мыслью было: бежать. В эти часы я была совершенно беспомощна, но, хотя мое горе становилось все сильней, хотя я ломала руки, бросалась ко всем и в ужасе следила за происходящим, я все же знала, что буду делать. Как и сказал наш провожатый, я оставлю его тело другим, пусть его обмоют и похоронят другие. Если будет нужно, я оставлю его умирать в одиночестве. Так и случилось. Когда я подала знак, что согласна, Мария ускользнула первой, а мы краешком глаза следили, как она уходит. На крест я больше не взглянула. Может быть, я уже достаточно насмотрелась. Может, было правильно спастись, раз была такая возможность. Но сейчас я так не думаю. Все это было неправильно. И теперь я скажу, потому что должна сказать: я поступила так ради собственного спасения. И ни по какой другой причине. Я видела, как наш провожатый исчез, и притворилась, что ничего не заметила. Я направилась к кресту, будто бы хочу сесть у его ног, ломая руки, и ждать, когда наступит конец. А потом зашла за крест. Сделала вид, что кого-то — или что-то — ищу, может, укромного места,

где облегчиться. И вслед за нашим провожатым и Марией спустилась по другой стороне холма и пошла медленно, потихоньку, все дальше и дальше.

Мне снилось, что я осталась. Мне снилось, что я держала истерзанное тело моего сына, залитое кровью, а потом омытое, что в это время он снова был со мной, что я касалась его тела и дотрагивалась до его лица, прекрасного и измученного. Я касалась ран от гвоздей на руках и ногах. Я вытащила шипы из его головы и омыла кровь с волос. Они оставили меня с ним, и с Марией, и с нашим провожатым, и с другими, пришедшими встретить конец вместе с ним, подвергавшими себя опасности, чтобы показать свою веру в него. Да, нас оставили с ним. Когда жестокое дело было сделано, когда человек, распятый на фоне неба над холмом, умер, и весь мир знал об этом, палачам не за чем было задерживаться. Они ушли поесть, выпить, получить свою плату. Тогда холм, на котором недавно жгли дымные костры и шумела злобная толпа, стал местом тихого плача. Мы обнимали и гладили его тело, очень тяжелое и одновременно невесомое, обескровленное, почти совсем белое — как мрамор или слоновая кость. Тело уже начинало коченеть, но какая-то часть

его самого, что-то, что он передал нам в последние часы, что-то, что родилось из его страданий, парило в воздухе, нежное и успокаивающее.

Так мне снилось. Иногда сны продолжались и днем, когда я не спала: я сидела и чувствовала, что держу его в объятьях, держу его тело, в котором больше нет боли, и моя боль, которая была частью его боли — его и нашей общей — отступает. Все это легко представить. Но то, что случилось на самом деле, представить невозможно, и мне придется признать это сейчас, в эти месяцы, оставшиеся мне до смерти, а иначе подлинные события превратятся в сказку, полную яда, как бывают полны яда яркие ягоды, низко висящие на деревьях. Не знаю, почему мне так важно сказать правду — себе самой, среди ночи, почему так важно, чтобы слова правды прозвучали хотя бы раз. Ведь мир — это тишина, и ночное небо без птиц — это тихая бесконечность. И никакие слова ничего не изменят в ночном небе. Они не сделают его более светлым или менее загадочным. И дню тоже нет дела до слов.

Я говорю правду не потому, что от этого ночь станет днем или дни станут бесконечными и прекрасными в утешение нам, старикам. Я говорю правду просто потому, что могу это сделать, пото-

му, что случилось так много, и потому, что у меня может не быть другой возможности. Может быть, скоро я снова начну воображать, что в тот день не убежала с холма, а держала его обнаженное тело в своих объятьях, может быть, скоро этот сон, который так понятен мне и так реален теперь, заполнит все вокруг, и изменит само прошлое, и станет тем, что было, тем, что должно было быть, тем, что, я видела своими глазами.

На самом деле было вот что. Они бежали, поддерживая меня с двух сторон, и я вдруг поняла, что никакого плана у нашего провожатого нет. Он так же не знал, что делать, как и мы. Вернуться в город мы не могли. У него было немного денег, но никакой еды. Меня пронзила мысль, что он торопил нас уйти, лишь бы спастись самому, и что великолепный план моего спасения появился позже и вовсе не был главной целью с самого начала. Гости, приходящие ко мне теперь, стараются связать все воедино, сплести узор, придать всему смысл и просят меня помочь. Я помогу им, как уже помогала, но не теперь. Теперь я знаю, что все делалось наугад, как придется, и в пути случалось такое, о чем даже теперь я не хочу вспоминать. Я знаю, что в эти дни мы делали ужасные вещи, потому что были в отчаянии. Мы крали

одежду, потому что нужно было что-то надеть, и я украла обувь, потому что нужно было во что-то обуться. Денег мы не брали и никого не убили. Надеюсь, что не убили, но многого я не видела. Мы старались идти как можно быстрее, иногда нам нечего было есть, а иногда мы чувствовали, что нас выследили, за нами погоня. Когда от нас требовали объяснений, мы отвечали, что со мной дочь и ее муж, и мы путешествуем без поклажи и пешком, а не на ослах, потому что мой сын ушел вперед с караваном и всеми нашими вещами. Эта ложь не так важна, а может, и остальное, что мы делали по пути, не так важно, но все же я не уверена.

Трудно понять другое — почему так важны наши сны. После того что случилось на холме, мы двигались в основном по ночам, а не днем, особенно первое время, поэтому то, что происходило во сне, не дает мне теперь покоя — еще больше, чем тогда. Странно, но теперь кажется неважным, что мы напали на одиноко стоящий деревенский домик, уязвимый, ни в чем не повинный, и забрали еду, одежду, обувь и трех ослов, которых вскоре отпустили, а наш провожатый связал хозяина, его жену и детей, запугал их, чтобы они не преследовали нас. Мы все это видели своими

глазами. Я надела эту обувь и одежду, и мы двигались быстрее на их ослах. Все это было.

А еще был сон: нам с Марией приснилось одно и то же. Когда мой муж был жив, мы с ним видели разные сны, хотя ночью лежали рядом и часто касались друг друга. Сон у каждого свой, как и боль. А в те дни мы были в отчаянии, порой голодали, задыхались от быстрой ходьбы, мучились от постоянного страха: мы с Марией поняли, что наш провожатый не знает, что делать, что ведет нас к воде, к морю, и полагается на случай, и с каждым днем, если нам не удастся найти корабль или какое-то убежище, все меньше надежды, что нас не поймают. Мы с Марией не расставались и на миг. Поддерживали друг друга, когда шли, спали, обнявшись, согревая и охраняя друг друга. Мы обе знали, что если нас поймают, то убьют, забросают камнями или задушат, а тела оставят гнить. Мы почти не говорили с нашим провожатым и с трудом скрывали свое презрение к нему, охваченные страхом, что нас поймают, страхом, что этот человек, ни к чему не способный, но с огромным самомнением, заманивает нас в глушь и что скоро мы умрем от голода и изможденья.

Нам обеим снилось, что мой сын воскрес. Нам снилось, что мы спим возле колодца, сделанного

из дерева и камня, колодца, к которому все ходили, потому что вода в нем была слаще, прохладнее и чище, чем в других. Мы были одни. Было утро, но пока никто не пришел за водой — ведь солнце едва показалось. Мы спали, привалившись к камню. Странно, что не было никакой тропинки, и, хотя вдали виднелись оливковые деревья, рядом ничего не росло, и не раздавалось ни звука: ни пения птиц, ни блеяния коз, ничего. Мы обе спали одетые, когда занялась заря. Нашего провожатого не было видно, страх и лихорадочная суета тех дней отступили. И вдруг мы обе проснулись от журчания воды: будто кто-то невидимый пришел набрать ее, и вода сама по себе поднималась и выливалась из колодца. Я уверена, что вода выливалась, потому что она намочила мое платье и разбудила меня. Но я продолжала лежать и опустила руку в воду, удостовериться, что она настоящая. Она была настоящая. А Мария вскочила, стараясь не промокнуть, и ахнула от удивления. Я посмотрела на нее, но сначала не увидела того, что видела она. Меня слишком поразило то, что творилось с водой: теперь она выплескивалась из колодца, била ключом, выливалась на землю и текла в сторону деревьев, постепенно образуя небольшой ручеек.

А потом я повернулась и увидела его. Он возвращался к нам, поднимаясь с водой, поток выносил его из земли. Он был наг, и его раны — на руках, ступнях, голенях, где были сломаны кости, на лбу, где вонзались шипы, — были открыты, и вокруг них были кровоподтеки. Тело же было белым. Когда вода вынесла его из колодца, Мария подхватила его и положила мне на колени. Мы прикоснулись к нему. Первое, что нам бросилось в глаза, — это белизна его кожи, белизна, не поддающаяся описанию. Мы обе заметили, насколько она чиста, нетронута, прекрасна и пронизана светом.

Во сне мы видели, как он открыл глаза, пошевелился и еле слышно застонал. Казалось, никакой боли он не чувствует и забыл все, что с ним случилось. Но раны никуда не делись. Мы не говорили с ним. Мы просто держали его, и он казался живым.

А потом он перестал шевелиться, или умер, или я проснулась, или мы обе проснулись. И все. Мы не смогли удержаться и не поделиться сном друг с другом, и наш провожатый все слышал. И тогда в нем что-то изменилось, он заулыбался и сказал, что всегда знал, что так будет, что это было предсказано. Он заставил нас повторять

рассказ снова и снова, и когда удостоверился, что все запомнил, то сказал, что теперь нам ничто не угрожает, что случится еще что-то, что приведет нас туда, куда нужно. Мы чувствовали необычную легкость — может, от голода, а может, от страха. Мы чувствовали себя свободными.

Я знала, и Мария знала, что мы идем наугад, и я иногда думала, что мы были бы в большей безопасности, если бы Мария оставила нас и вернулась домой. Позже, когда мы спрятались в каком-то доме, то смогли спокойно поговорить об этом. Мы понимали, что я никогда не смогу вернуться, никогда не смогу появиться там, где меня знают. Но она могла вернуться, и я видела, что она этого хочет. А потом спокойные дни закончились. Им положили конец еда, отдых и перемена в настроении нашего провожатого: он стал гораздо оживленнее. Он оживился, когда несколько совершенно посторонних людей вызвались помочь ему, а потом к ним присоединились другие, те, кто знал, что он — последователь. Через них он смог послать за подмогой и заверил, что скоро мы будем в безопасности, что за нами придет лодка и отвезет нас в Эфес, где для нас приготовлен дом, в котором нас всегда защитят. Он не понимал, что его утешения и ободрения ничего

не меняют — ведь мы начали осознавать весь ужас того, что мы сделали. Мы оставили хоронить моего сына другим, а может, он так и не был похоронен. Мы сбежали туда, где наши сны стали более реальными, чем явь, чем то время, когда мы думали, страдали, осознавали себя. Несколько дней казалось, что так и надо, быть может, мы обе надеялись, что будущее тоже станет только сном, а потом все распалось, и я поняла, что Мария хочет уйти, что она больше не хочет со мной оставаться. Я знала, что так и будет, и однажды это случилось: я проснулась утром, а ее кровать была пуста. Наш провожатый помог ей уйти, потому что она так хотела. В те дни прощание не имело смысла, оно ничего бы не изменило. Я не сердилась, что она ушла просто так. Но теперь я осталась с ним один на один, и мне нужно было решать, как себя вести. И еще кое-что мне нужно было решить для себя раз и навсегда. Теперь я хотела, чтобы сны заняли свое место и стали частью ночи, а все, что произошло на самом деле, все, что я видела и делала, стало частью дня. Я надеялась, что до самой смерти смогу четко видеть разницу. Надеюсь, мне это удалось.

* * *

Сейчас день, и то, что проникает в комнату, зовется светом. Странно, но, когда мы поднялись на борт лодки, доставившей меня сюда, плывшей через бури и тихие воды, я мечтала, чтобы произошло несчастье. Мне, чтобы обрести покой, было необходимо, чтобы наш провожатый или кто-то из его помощников упал в воду и звал на помощь, выныривал и опять тонул, а потом нашли бы его мертвое тело. Я хотела вновь пережить это чувство, как бы оно ни называлось. Я бы видела не несчастье, а просто картинку, напоминание. Когда я смотрела на людей, перед моими глазами стояла насильственная смерть, и я чувствовала, что теперь готова встретиться с ней лицом к лицу, как дикий зверь чует, чего ждать и что делать, когда добрая рука протягивает ему еду, будто ручному. То, что я видела, сделало меня дикой, и этого уже не изменить. Я потеряла рассудок от того, что видела при свете дня, и никакая темнота не смягчит и не изгладит этого.

Я редко выхожу из дому. Я всегда настороже. Сейчас дни становятся короче, а ночи — холодней, и когда я выглядываю в окно, то смотрю с изумлением и не могу оторваться. Свет кажется

таким ярким, сочным. Как будто бы теперь, когда у него меньше времени, чтобы омывать нас своим золотом, он сделался сильнее, наполнился трепещущей чистотой. А потом свет начинает угасать, и повсюду ложатся косые тени. И в этот час, час неверного света, я могу выскользнуть из дому и вдохнуть густой воздух, увидеть, как блекнут краски, будто бы небо втягивает их в себя, зовет их домой, пока все вокруг не станет неразличимым. Мне это очень нравится, и, пока я дохожу до храма, чтобы немного постоять у колонны, наблюдая, как тени густеют и мир готовится к ночи, я чувствую себя почти невидимой.

Я двигаюсь как кошка — остановлюсь, скользну вперед и снова замру. Хотя я знаю, что в это время меня не так легко заметить, как днем или утром, я всегда настороже, словно дикий зверь, готовый сорваться с места при малейшей опасности.

Однажды я слишком долго простояла в храме и вышла уже в сумерках. Я знала, что мне нужно спешить, чтобы попасть домой до темноты, потому что ночи были непроглядно темными, почти безлунными и дороги не было видно. Я не могла пойти извилистой тропинкой, по которой всегда возвращалась, пришлось карабкаться изо всех сил по крутому склону, чтобы быстрее

попасть домой. И тогда, в угасающем свете, я дошла до камней, которых никогда раньше не видела, в этом месте, где мне суждено провести остаток жизни. Тонкие пластины камня как зубы торчали из земли, будто росли здесь. Мои ноги болели от быстрой ходьбы, я прислонилась к одному из камней и услышала, как в траве кто-то зашуршал. Я обернулась. Увиденное так напугало меня, что я чуть не бросилась прочь. На камнях были вырезаны две фигуры, почти одного роста со мной, их освещало заходящее солнце, отражаясь от белого камня, сиявшего в последних лучах. Сначала я разглядела обнаженного молодого человека с невинным и безмятежным лицом. Мне показалось, что он вот-вот отделится от камня, на котором был вырезан, и подойдет ко мне — свет вдруг стал ярче. Поначалу он меня напугал, но теперь мой страх исчез. Рядом с ним стоял бородатый мужчина постарше, он закрывал лицо руками, и было видно, что он плачет, что он тоже потерял что-то дорогое. Он горевал о чем-то, о чем молодой, казалось, не знал. Может быть, так всегда у мертвых — они не скучают по нашему миру и не знают, что здесь происходит. Я стояла и смотрела на них, на молодого, которого считала умершим, и на его отца, живого и

полного страданий, и вдруг заметила у ног юноши фигурку плачущего ребенка. Он скорчился, сжался от горя, которое казалось даже сильней, чем горе старика. Потом солнце спустилось еще ниже, и в меркнущем свете я увидела, что все камни вокруг покрыты резьбой: фигурами людей и животных, какими-то словами. Издалека они казались беспорядочной грудой, случайно брошенными здесь, но теперь мне стало ясно, что их здесь поставили неспроста, что эта резьба что-то означает, и, когда я поспешила прочь, я поняла: она означает смерть.

* * *

В эти дни, пока смерть не прошептала мое имя, не позвала, убаюкивая, в темноту, я порой понимаю, что жду от этого мира большего. Немногого, но все-таки большего. Ведь это просто. Если воду можно превратить в вино, если можно воскресить мертвого, то можно и повернуть время вспять. Я хочу снова оказаться в том времени, когда мой сын не умер, когда он не уходил из дому, когда он был маленьким, а его отец жив, и когда в мире все было просто. Я хочу вернуться в один из тех светлых субботних дней, когда все тихо, на устах у всех молитва, когда я вместе с другими

женщинами прошу Господа помиловать слабых и сирот, защитить смиренных и обездоленных, спасти тех, кто в беде, освободить их из рук нечестивцев. Когда я обращалась с этими словами к Богу, мне было важно знать, что мои муж и сын неподалеку и что скоро, когда я приду домой и сяду в тени, молитвенно сложив руки, я услышу их приближающиеся шаги, увижу улыбку сына, увижу, как отец открывает перед ним дверь, а потом мы будем молча сидеть и ждать захода солнца, чтобы вновь начать разговаривать, и усесться вместе за стол, и неспешно приготовиться к ночи, приходящей на смену дню, в который мы приводили в порядок свою душу, дню, в который наша любовь друг к другу, к Богу и ко всему миру стала глубже и сильней.

Эти дни остались в прошлом. Мальчик превратился в мужчину, и ушел из дому, и был распят на кресте, и страдал, и умер. Я хотела бы иметь достаточно сил, чтобы представить, что случившееся минует его, что оно увидит нас и решит: не сейчас, не с ними. И нам дадут спокойно состариться.

* * *

Они вернутся, мои защитники, мои стражи. Я всегда у них под наблюдением. Через несколько дней они узнают, что однажды я проснулась на заре и стояла у окна. Кто-нибудь заметил какую-то тень, что-то увидел через окно, что-то услышал. Я всегда на виду. Может, они платят Фарине, чтобы она следила за мной и сообщала им обо всем, может, они угрожают ей, если она этого не делает. А может, они нашли кого-то еще, мимо кого я молча прохожу на улице. Это не важно.

Каждый раз мы начинаем все снова, и каждый раз они поначалу вдохновляются какими-то подробностями, а потом их что-то раздражает: новая деталь, или мой отказ сказать что-то, что им хотелось бы услышать, или то, как я себя веду, когда слышу их голоса и вижу их попытки простыми словами рассказать об очень сложных вещах.

Но, может, все и на самом деле просто. Может, когда я умру, а это будет скоро, все станет еще проще. Все станет так, будто увиденного и пережитого мной вовсе и не было, или было, но значило не больше, чем взмах птичьего крыла высоко в небе в безветренный день. Они хотят,

чтобы те события остались с людьми навечно, они сами мне говорили. Их записи, говорят они, изменят мир.

— Мир? — спросила я. — Весь мир?

— Да, — сказал человек, бывший моим провожатым. — Весь мир.

Наверное, я выглядела растерянной.

— Она не понимает, — сказал он другому, и это была правда. Я не понимала.

— Он и правда был Сыном Божиим, — сказал он.

И стал терпеливо объяснять, как я зачала своего сына, а другой кивал и поддакивал. Я почти не слушала. Мне есть, чем заняться. Уж я-то точно знаю, как это было. Я знаю, как была счастлива в первые месяцы, как чувствовала, что мой ребенок необычный и особенный, что вся моя жизнь изменилась, как я не раз стояла у окна, озаренная светом, и сознавала, что растущая внутри меня жизнь, биение второго сердца, переполняют меня. Потом я узнала, что это чувствуют все женщины, готовясь стать матерями и вскармливать своих детей, что это чувство начинается в теле и пропитывает дух, и все кажется таким новым. Я улыбалась, слушая их слова, ведь они думали, что знают правду о свете и Божьем даре, который

ощущает будущая мать, и мне вдруг понравилось, с каким жаром и уверенностью они говорили.

Но под конец они сказали такое, что я вскочила и в ужасе отпрянула.

— Он умер, чтобы искупить грехи всего мира, — сказал другой. — Своей смертью он освободил людей от тьмы и греха. Его отец послал его в этот мир, чтобы он страдал на кресте.

— Его отец? — спросила я. — Его отец?..

— Нужно было, чтобы он прошел через страдания, — перебил он, — так он спас всех нас.

— Спас? — вскрикнула я. — Кого спас?

— Тех, кто был раньше, и живущих теперь, и еще не рожденных, — сказал он.

— Спас от смерти? — спросила я.

— Спас для жизни вечной, — сказал он. — Все люди узнают жизнь вечную.

— А, жизнь вечную! — ответила я. — А, все люди!

Я посмотрела на них: они отвели глаза, их лица потемнели.

— Так все было ради этого?

Они переглянулись, и впервые я почувствовала, насколько сильно их стремление и невинна их вера.

— А кто еще об этом знает?

— Об этом узнают, — сказал один из них.

— От вас? — спросила я.

— От нас и других учеников.

— Ты имеешь в виду, — спросила я, — людей, ходивших за ним?

— Да.

— Они еще живы?

— Да.

— Они прятались, когда он умирал, — сказала я. — Они прятались, когда он умирал.

— Они были там, когда он воскрес, — сказал один из них.

— Они видели его могилу, — сказала я. — Я не видела его могилы, не омыла его тела.

— Ты была там, — сказал мой провожатый. — Ты держала его тело, когда его сняли с креста.

Другой кивнул в подтверждение.

— Ты видела, как мы покрыли его тело благовониями, обвили его пеленами и похоронили в склепе, недалеко от места, где он был распят. Но когда он появился среди нас через три дня после смерти, чтобы говорить с нами и вознестись к своему отцу, тебя не было с нами, ты была спрятана в надежном месте.

— К своему отцу?! — сказала я.

— Он был Сыном Божиим, — сказал один. —

Отец послал его, чтобы искупить людские грехи.

— Умерев, он дал нам жизнь, — сказал другой. — Своей смертью он искупил грехи людей.

Я повернулась к ним, и, увидев на моем лице гнев, боль и страх, они перепугались, и один из них двинулся ко мне, хотел заставить меня замолчать, не дать сказать то, что я собиралась. Я отступила на несколько шагов и стала в углу. Сначала я прошептала, потом повторила свои слова громче, а он все наступал на меня. Я вжалась в угол и прошептала это снова, медленно, тщательно выговаривая слова, вкладывая в них все свои силы, весь малый остаток жизни, теплившейся во мне.

— Я была там, — сказала я. — Я сбежала, прежде чем все кончилось, но если вам нужны свидетели, то я — свидетель, и вот что я вам скажу. Вы говорите, что он искупил грехи людей, а я вам скажу: они того не стоили. Они того не стоили.

Вечером они ушли с караваном, направлявшимся к островам, и в их поведении чувствовалась отчужденность, что-то вроде страха, а может, крайнее раздражение и отвращение. Но они оставили мне денег и еды и оставили чувство, что я все еще под их защитой. Мне было нетрудно быть с ними вежливой. Они совсем не

дураки. Я восхищаюсь их предусмотрительностью, умением все рассчитать, их преданностью, тем, что они непохожи на небритых дикарей и безумцев, на мужчин, не способных смотреть в глаза женщине, приходивших в мой дом после смерти мужа и ночи напролет говоривших с моим сыном о всяком вздоре. Они одержат победу и добьются своего, а я умру.

Я больше не хожу в синагогу. Это в прошлом. На меня обязательно обратят внимание, я не похожа на других. Но я вместе с Фариной хожу в другой храм, а иногда иду туда одна — по утрам, едва проснувшись, или в сумерках, когда в мир приходят тени, предвещая ночь. Я двигаюсь тихо. Я шепотом обращаюсь к великой богине Артемиде, щедро открывающей объятия, готовой всех накормить своим молоком. Я говорю ей, как мне хочется уснуть в сухой земле, мирно превратиться в пыль, закрыв глаза, где-нибудь под деревьями. А пока, просыпаясь ночью, я хочу большего. Я хочу, чтобы того, что случилось, не было, чтобы все пошло по-другому. Ведь все могло очень просто быть по-другому! Как легко было бы избавить его! Это не потребовало бы огромных усилий. Даже сама мысль об этом приносит мне облегчение. Она рассеивает тьму и приглушает

скорбь. Я чувствую себя как путник, нещадно палимый солнцем, уставший после долгого перехода через пустыню, когда он всходит на холм и видит у своих ног город, сияющий, словно опал в окружении изумрудов, богатый город, в котором есть колодцы и деревья, рынок, полный рыбы, домашней птицы и плодов, благоухающий ароматами еды и пряностей.

Я спускаюсь к нему по пологой тропинке. Меня влечет в это странное место, населенное душами, я иду вдоль восхитительных узеньких мостиков над журчащей курящейся рекой, похожей на остывающую лаву, по берегам которой раскинулись луга, полные рвущейся из-под земли жизни. Я иду куда хочу. Вокруг — тишина и умиротворяющий, рассеянный свет. Мир спокоен и расслаблен, как женщина, распускающая волосы перед сном. Я шепчу эти слова, зная, что слова не напрасны, и, улыбаясь, говорю их теням богов этого места, которые медлят в воздухе, готовые увидеть и услышать меня.